





## Елена Георгиевская

Родилась в 1980 году в городе Мышкине Ярославской области. Училась в нескольких вузах, жила в Ярославле, Санкт-Петербурге, Москве, г. Балтийске Калининградской области. С 2007 года живёт в Калининграде.

В 2006 году окончила Литературный институт им. Горького.

Лонг-лист «Дебюта» (2006), шорт-лист «Ильи-премии» (2006), премии им. Астафьева (2010). Лауреат премии журнала «Футурум Арт» (2006), «Вольный стрелок» (2010). В 2006 году получила грант имени Анны Хавинсон. Стипендиат Министерства культуры РФ (2010). Участница VII, VIII, IX, X, XI Форумов молодых писателей России.

Публикации: «Дети Ра», «Футурум Арт», «Литературная учёба», «Волга», «Волга – XXI век», «Нева», «Урал», «Слова» (Смоленск), а также — в интернет-журналах «Пролог», «Знаки», «Новая реальность», «Новая литература», «Сетевая словесность», в коллективных сборниках и др. Участница литобъединения «Неоновая литература».

Книги: «Луна высоко», «Диагноз отсутствия радости», «Место для шага вперёд», «Хаим Мендл», «Вода и ветер», «Инстербург, до востребования», «Форма протеста» (издательство "Franc-tireur USA", 2009), «Вода и ветер» («Вагриус», 2009).

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВСКАЯ

# КНИГА 0



***Franc***-Tireur  
USA

Book 0  
[Книга 0]  
By Elena Georgievskaya

Copyrights © 2012 by Elena Georgievskaya

All rights reserved.

ISBN 978-1-105-60040-1

Printed in the United States of America

# КНИГА 0



## ЗРЕНИЕ

### I

Попробуй вспомнить, как очертания начали расплываться, попробуй догадаться, почему.

1984. Почти два года, как умеешь читать, уже несколько месяцев, как открылась твоя собственная антиутопия. Потом девушка с голосом, как у Кейт Буш, скажет тебе: «Я очень не хотела видеть одну тварь».

Видеть — хорошо, утверждают близкие; хорошо видеть, как вещи уничтожают тебя, съедают мысли и воздух, и тебе уже не хочется обратно в этот прожорливый рай. «...и в результате перестала видеть всех. Потом психолог объяснил: моя близорукость носит психосоматический характер. После упражнений глаза восстановились».

Моя близорукость носила с собой карандаш для ретуши.

Ты слишком ясно помнишь: они зачем-то отъединили тебя от холодного и лёгкого, от тех непонятных явлений, которых они боятся. Там ты отчётливо различала предметы, если их можно назвать предметами. Видела в чёрном чёрную луну, в белом — собственный голос. Встречались плоскости, похожие на стекло, но сквозь них можно было пройти.

В первые годы говорила себе — уже на этом, чужом, языке: подожди, вода вернётся, накроет тебя с головой, станет всё равно, видишь ты или нет, дышишь или нет. Но ничто не вернулось, и ты захотела отдалиться, и остальные растушевались, расползлись. В таком виде они казались немного

лучше. Но вскоре ты поняла, что мешаешь сама себе. Стало плохо видно чёрные знаки, из которых складывались фигуры существ, не похожих на окружающие. Стало трудно целиться в здешнее стадо. Если мешаешь сам себе, не попадёшь в другого камнём, подгнившим яблоком, горстью песка. А тебе хотелось большего — попасть другому в голову и понять, почему он так на тебя не похож.

Это понятия, не связанные между собой, отвечают чёрные знаки.

Ты не веришь. Внутреннее зрение может стать сильнее внешнего за счёт жертвы, но ты чувствуешь, что эту жертву не готова принести; что надо стать лучше; ты воспитывалась на спартанских притчах, и тебе уже не кажется жуткой энциклопедическая сказка о скальпеле.

К тому времени ты уже забыла, как добивал тебя этот мусорный мир на своём начальном этапе. Проявленное стало напоминать пустоту, расчерченную на разноцветные прямоугольники. Кто-то [мёртвый] внушил тебе: ты должна стать не абстракционистом, но мастером детали. Никто не предупредил: пустота, к которой мы тянем руки, превращается в мелкую людскую жизнь.

Решила не бояться.

Когда тебе исполнилось семь, разрыв между внутренним и внешним достиг предела. На некоторое время ты даже перестала сопротивляться попыткам близких заплетать тебе косы, одевать тебя в неудобные платья с воланами, переучивать тебя чужой, некнижной, речи и нелепым манерам. Ощущала себя подопытным растением, которое травят ядохимикатами, проверяя, выживет или нет. Родственники с их смешными намерениями не понимали, что ими руководит кто-то невидимый, гром, совершенный ум, коллективный разум. Их действия имели окончательной целью твою



мутацию, действия невидимого — сохранение твоей естественной силы, пока ещё не ясной никому. В конце концов, ты смирилась с долей нарушителя запретов, хотя вначале попробовала обосноваться в новом, обещанном врачами состоянии. «Уже минус пять с половиной», — сказал доктор в поликлинике, состоящей из грязно-белых квадратов, ржавчины и безумных пенсионеров — с такими стариками, думала ты, детям никогда не выздороветь: даже когда прекратится живодёрня, вырывание зубов и гланд без наркоза, и крики утихнут, и ребёнок спокойно поглядит по сторонам, — возникнет из воздуха пыльный старик, они тут все такие, — и будет попеременно сюсюкать и оскорблять, и его уже не остановишь.

«К шестнадцати, пожалуй, может ослепнуть», — очень тихо добавил врач. У близоруких детей превосходный слух.

От человека в грязно-белом халате не осталось ничего, кроме этих слов у тебя в голове. Предсказать существу вроде тебя его личную альтернативную историю — наивысшее достижение шарлатана.

Ты будешь опираться на бредни врача, идя по этому болоту. Врач — частица покинутого тобой местечка, значит, он не может быть прав, ты не позволишь ему не ошибиться. Вдруг ты распустила бы себя, целыми днями сидел бы перед компьютером, пренебрегал правильным питанием и гимнастикой для глаз, если бы не твоя страшная сказка. Так для других дураков костылём служила легенда, выдуманная каким-то сектантом, — чем хуже твой (наверно, уже умерший или уволенный) целитель?

1988. Из больничного крана течёт красная вода. Не ржавая — другой оттенок. Ты спрашиваешь у деда, что это, он мрачно отвечает: девочкам не полагается думать о такой воде, думать надо о зайчиках, белочках, шоколадках.

Зажмуриваешься, открываешь глаза. Даже на десятисантиметровом расстоянии эта жидкость мало отличима от крови. Но это не она. Будь у тебя зрение, как у людей, ты отличила бы кровяные тельца от мельчайших крупинок ржавчины или минерала. И нечем порезать руки, чтобы сравнить цвета.

«Прячьте от детей лекарства, а также колющие и режущие предметы».

Когда я вырасту, у меня будет такое зрение, что я рассмотрю все острые предметы в вашем доме сквозь стальную дверь. Я сделаю деревянные створки ваших шкафов плотным коричневатым стеклом, за которым будут тихо мерцать ножи. Сквозь ваши головы будет просвечивать чёрная, на чёрном, луна.

Размышляешь, сделать ли тебе вид, будто ты думаешь про зайчиков и белочек.

1989, начиная читать комментарии к взрослым книгам, преобразуешь их в нечто странное в своей голове. Знакомых взрослых эти книги не слишком интересуют, значит, они твои, и ты имеешь право толковать прочитанное и никому не рассказывать, как.

Бог, говорится в комментариях, слепой.

В девять лет ещё не так легко усвоить, что определение «демиург» относится не только к слепоте.

В других книгах написано, что он всевидящ. Ты готова принять и апокрифическую версию. Бог — тот, кто не способен видеть мусор. Более того: сотворённое им кажется мусором только видящему. На уровне слепоты, чёрного на чёрном, вещи одинаковы, равны и однозначны.

У бога, подсказывает внутренний голос, другая слепота, не наша. Иначе бы он назывался «человек».

Попробуй вспомнить:

училась ходить по тропинке с закрытыми глазами, на всякий случай, чтобы не быть потрясённым своей будущей участью, или чтобы попытаться понять этого — возможно, не существующего — бога чужих людей?

Возможно, чужие послушали бы тебя. Эти — слушают дребезжащие голоса в ящике: там, например, сообщают, что с вундеркиндами всегда сложно; если со мной сложно, я не буду с вами говорить. Вы плохо меня слышите, я плохо вас вижу, вот наш общественный договор.

Шла довольно долго, зелень по обеим сторонам угадывал внутренним взглядом, ни разу не споткнулся. Ничей ребёнок на заброшенном поле. Под ногами проваливается земля. В этих местах она не бывает ровной.

Ты не рада, что прошла километр, не сбившись с курса: глина подсказывала, как следует двигаться. Вот если идти по сплошной траве, тренировки будут более трудными и успешными.

Не хочешь носить на глазах стекло, потому что оно мешает бить, потому что отвечающий может попасть тебе в лицо, это лишнее, неудобное, как кружевные платья, в которых нельзя лазать по деревьям, как твоё имя, как барахло в чулане, который больше подходит не для камеры хранения, а для пыточной камеры.

## II

Прошло много лет после операции, но я так и не поняла, что *человечнее* — быть полноценным или ущербным; нет, я знаю, что — *не быть*, но сейчас хотелось бы сравнить между собой два, скажем так, анатомических состояния. Иногда слепота, как и подобает несбывшемуся, зовёт нас обратно.

Во сне; или во время командировки (если совсем вымотался в аэропортах, тебе мстится, что командировка от слова «кома»), когда истерзанные пылью глаза соприкасаются с невозможной московской водой. Роговицу щиплет, окна и стены плывут, чувствуешь себя наполовину ребёнком, наполовину оттаивающим трупом. Пробудившийся, ты уже снова ты сам, всё снова чёткое, резкое, острое, как те ножи, как плотные страницы новых книг, о которых ты в детстве и не мечтал.

Не пытаешься удерживать людей рядом, потому что помнишь, как легко они могли вырваться за границу зримого давным-давно, когда ты думала, что отслоение сетчатки произойдёт в любую минуту, и, хочешь ты этого или нет, мир отпустит тебя и ты отпустишь мир? Что значит эта стая без своих лиц, одежды и знаков различия, когда каждый тождествен каждому в твоей жалкой и непобедимой тьме?

Временами слепота напоминает о том, чего стоило опасаться. [Я тогда страшно устала; я смотрела на тебя в первый вечер — серые глаза, пепельные волосы, ничего особенного, ты говорил обычными стёртыми фразами, соединяющимися в сплошную стену из пепла; и только наутро, когда посторонние исчезли, я тебя почти не узнала: на самом деле у тебя были каштановые волосы и глаза странного изменчивого оттенка. Ты осторожно гладил моё лицо, словно собирая его из кусков заново. Мне надо было уйти немного раньше. Мой возвращённый ад предупреждал меня, но не сумел защитить; ад, вопреки мнению близких, не то, что защищает.]

## БЕЙ КОШКУ ОБЛАКОМ

Она превратила его в труп,  
но в труп невиданно оживлённого свойства.

*Роберт Вальзер*

Вода вернулась в дом в тот же день, когда квартире №1 обнаружили полуразложившееся тело сантехника. Хабалки радовались, участковый мысленно матерился: он не успел на праздник большого льда, который в этом году пришёлся на сретенье. Фотографии этого мероприятия можно увидеть в сети: насупленные баянисты в ушанках и тулупах и толстая раскосая баба в зелёном национальном костюме загораживают транспарант; из-за них наименование позорища можно прочесть как «большой ад», «больной люд», а то и: «больной даёт», — тут представляется перекосоёбленный недуг, но всё ещё дееспособный ахтунг. Снимок обрезан ровнёхонько на «Россия, вп» — это надпись, которая следует

за «больным дающим». Любишь ли ты Удмуртию, читатель, как люблю её я? Сантехник Шудегов её тоже любил.

Холодно, холодно. Если улыбаться, губы растрескаются. А впрочем, тут не Америка, чтобы все улыбались и т. д., только мразь с третьего этажа слушает непонятную музыку и показывает в улыбке плотные белые зубы, словно Америка здесь. На втором этаже старуха Судакова включает телевизор на полную громкость. Напротив цыгане врубают кавказскую песню «Чёрные глаза», — и всё это с раннего утра валится на голову сантехнику.

На лестничной площадке ссорились пьяные женщины. Шудегов узнал их по голосам: одна ещё молодая, но уже расплзающаяся, как квашня, другая — увядшая и прокуренная, на ней кислотно-розовые носки.

— Я, блядь, мыла площадку, а ты не мыла площадку. Тебе не противно ребёнка возить через говно каждый день?

— Да, блядь, ты мыла! Шприцы с пола подобрала и положила на подоконник, будто в мешок было, блядь, нельзя. И окошко открыла, а в него — хуясь голубь заразный, как это... как святой дух!

— Ты ебанулась, что ли, коза сифилёзная?

Со второго этажа сползла старуха. Её губы, накрашенные советской оранжевой помадой, растянулись в хитрой усмешке. Судакова набрала воздуха в лёгкие и завопила: «Где ж вы, где ж вы, очи карие? Где ж ты, мой родимый край?!»

— Девочки! — заорала она страшилищам с площадки. — Это сейчас у меня плохая дикция, после автокатастрофы, где мне прикусило язык. А раньше она у меня была, как у диктора.

Тётка в носках тяжело вздохнула. Судакова дотащилась до ржавых почтовых ящиков и застучала по ним железной спицей, то по одному, то по другому.

— Я жила, не думая о многом! И печалиться мне было бы смешно! — заливалась старуха: её репертуар был весьма разнообразен. Шудегов прошёл мимо с мусорным пакетом, стараясь не смотреть в её сторону. Бабка обернулась и торжествующе закричала ему в спину:

— Что, гнида, всю молодость играл, а теперь не поёшь? А я нигде не играла, ни в каких ансамблях, мне тысяча лет, и я пою. Съел, сука?

— Пошла на хуй, — чётко и отдельно проговорил Шудегов.

— Гнида ты, — по-девичьи звонко отозвалась бабка. — Я ещё всё твоё убью. Понял?

— Не понял. Иди и сдохни.

— Скорее ты сдохнешь. Ещё молодой, а совсем уже злой. Будет язва у тебя, инфаркт, паралич.

Шудегов захлопнул за собой тяжёлую дверь подъезда. Помойные голуби при виде него вспорхнули на ветку тополя и посмотрели оттуда внимательно и строго, как святое семейство — на грешника. Приближалось сретенье. Сквозь тонкий лёд просвечивал асфальт, сквозь асфальт — бездна. Небо напоминало российский флаг — синее, с белыми облаками и странным красным солнцем, какого в здравом уме и твёрдой памяти не увидит ни один человек.

Люсе Судаковой исполнилось сорок лет, но она была ещё яркой, крутобёдрой, красилась синими тенями и оранжевой помадой и накручивала ресницы на раскалённую вилку, чтобы те загибались на концах. В провинциальном совке считалось, что это круто. Другим продавщицам района это было слабо.

Муж выгнал Люсю то ли за блядство, то ли за бездетность — какая разница?

Коля Шудегов к тому времени окончил техникум и играл в рокера по гаражам. Ни одной записи, как утверждала его покойная мать, к счастью, не сохранилось. Недавно блоггеры открыли олигофрена, в которого вселился дух Цоя и диктовал ему тексты вроде: «ломая лёд скоро на ступит день и мы как суки и как пять рублей», — а Коля Шудегов и так не умел.

В восемьдесят каком-то году его группа выступила в областном рок-клубе; парторг прокомментировал концерт следующим образом:

— Вопиющая бездарность! Воинствующая бесталанность! Самогонное бречение! Словом, зазнались петушки по самые яйца.

— Всё хорошо получается у ребят, — возразила его любовница, звукооператор, — и, взрослея, они покажут нам более взрослую и бьющую тематику.

— Нет уж, — отрезал парторг, — диссиденты выискались. Диссиденты все в Москве, вот туда пускай и катятся, никто их держать не будет. — Но Коля происходил из простой дворницкой семьи, и на Москву денег у него не было.

Вскоре умерла его тётка, и Коля переселился в её запущенную однушку. Утром к нему постучалась Люся Судакова и стала, сияя глазами, что-то трещать. Сейчас он не мог вспомнить, что именно. Её веселье в доме, где недавно умер человек, не показалось Шудегову глупым, неуместным или безнравственным. Густопровинциальным рокерам нравятся простые раскрашенные девки, не претендующие на звание рокерш или поэток, не всегда безопасные для кошелька, но почти всегда безопасные для самолюбия. (Больше им нравится только совать в тексты песен слова на иностранном языке, которым они владеют на уровне пятиклассника.) Но, главное, Коля ничем не раздражал эту славную молодежавую овцу. Другим женщинам казалось, что он выёбывается, даже когда молчит, и они, не сговариваясь, твердили: «Будь



проще», — а чтобы попасть туда, где об этом просить не будут, у Коли не было ни денег, ни должной подготовки.

Прошёл год. Ударника забрали в армию. Басист запил и женился. Соло-гитарист запил, ночью уснул в сугробе около церкви и замёрз. Люся сказала:

— Значит, так надо. Брось ты это.

— Много ты понимаешь, — возмутился Коля, разливая водку. Она была палёная — если разлить немного на столе и поджечь, не горела; вскоре Горбачёв запретил и такую.

— Я тоже в детстве стихи писала, — задумчиво сказала Люся. — «Вдоль деревни у дороги ивушка растёт. Знает об этом весь большой народ. И весной, и летом, в полуденный зной она готова путника укрыть своей листвой».

— Считай слоги, дура, — ответил пьяный Коля. — Считай слоги.

— А ещё мне после автокатастрофы, когда мать разбилась, стало сниться, что я умею летать и на время полёта делаться невидимой, — продолжала Люся, как не слыша. — Мне шесть швов наложили, и когда их сняли, меня не стало. Всё вижу, всё чувствую, но меня нет. И кто это выдумал, что крылья нужны, чтобы летать, ты же просто плывёшь, только не в воде. А ещё можно в любой дом попасть, где тебя обидели, и натворить там всего, и никто тебя не заметит.

Коля отодвинул гранёный стакан, прислушался. Хотелось спать.

— Я так начальнику цеха сказала, только у себя в голове: «Я ещё всё твоё убью», — было за что. Наутро он умер, а всё потому, что балкон оставил открытым. А я у себя дома спала, как ни в чём не бывало.

Коля, слегка протрезвев, осознал, что всё это время полумная баба его обманывала, прикидываясь здоровой, что нет хороших и нормальных людей — все врут, и надо послать эту продавщицу ещё за водкой, а потом не открыть ей

дверь. Тут Люся укоризненно посмотрела на него чистыми, ясными глазами, подведёнными синим, и сказала:

— Вы со своей группой больше портвейн по гаражам пили, чем дело делали.

— Уматывай, сука, — сказал Коля, — я себе девку молодую найду с квартирой, — и, разумеется, не нашёл. Пришлось жениться по залёту на пэтэушнице. Она забивала Колин катушечный магнитофон попсой, дома у неё были мать-истеричка, отец-алкоголик, брат-алкоголик и ещё один такой же брат.

Люся осатанела. Она регулярно спускалась на первый этаж — попросить соль, кастрюлю, сковородку. Однажды потребовала починить за бесплатно кран. Бойкая Колина супруга не понимала, почему чувствует себя серой мышью рядом с этой уже не очень молодой тёткой.

Всё закончилось скандалом. Вернувшись домой, Коля застал на кухне взлохмаченных соседку и жену. Жена закричала:

— На пять минут вышла, на площадку покурить, забыла дверь защёлкнуть. Прихожу — на кухне твоя скотина и полсковородки картошки сожрано. А она улыбается: никакой картошки не ела! — Супруга запустила в Колю тяжеленной салатницей, он еле увернулся и понял, что лучше развестись. Без баб дома хорошо, светло, спокойно, только грязно.

Люся переехала жить к менту и стала гулять от него налево. А ещё мент увидел, как она по утрам накручивает ресницы на раскалённую вилку, и решил, что она спятила. О тебе тоже могут подумать, что ты спятил, дорогой читатель, если ты будешь совершать действия, вышедшие из моды, или носить немодную одежду.

Коля собрал новую группу. Никто из этих ребят не слышал о Sonic Youth, Throbbing Gristle, Circle Jerks или Wire. Вскоре

ударник подсел на ханку и умер, бас-гитарист попал в тюрьму за кражу, соло-гитарист запил и устроился сторожить садоводческое хозяйство; на работе он спал, пока не умер во сне от инфаркта, спровоцированного дешёвой водкой и колёсами. Наступили последние времена.

Шудегов жил один всё в той же обшарпанной квартире, которую изредка ремонтировал, но она невыносимо быстро обрастала изнутри сальными пятнами, ржавчиной и пылью. Про него говорили — «дурак», так в райцентрах говорят о тех, кто в юности совершал что-то недозволенное, или о тех, кто активно пишет о справедливости в местную газету, или о тех, кто не пьёт. Коля пил много: после стопаря рожа в зеркале уже не казалась ему жуткой. После реформы ЖЭКа было решено отказаться от штатного сантехника, и Шудегову пришлось уволиться и зарабатывать шашками. Откуда ни возьмись, выросли конкуренты — гладкие самоуверенные тридцатилетние парни. Они умели печатать объявления на компьютере, а у Коли на компьютер не было денег.

Как-то он поднялся на третий этаж, где приобрела квартиру молодая, с виду — жидовская мразь. Думал, она поможет с объявлениями. Но та, увидев в глазок неопрятного, тощего, напоминающего наркомана дядьку в замызганной куртке и тренировочных штанах, не открыла.

На лестнице ему встретилась Люся и закричала:

— Что, собутельников ищешь, мудила? Все пепельницы опрокинул, дерюгу себе вместо коврика приволок, вонь от неё на весь подъезд.

— Пошла на хуй, — привычно ответил Коля и поплёлся вниз. Потом жидовская мразь говорила, что после его прикосновений перила хочется вымыть чистым спиртом. Зачем, возражал любовник мрази, дядя Коля сам есть чистый спирт.

Люся так и жила тут с тех пор, как лейтенант милиции вывез её из своей хаты. Ходили слухи, что её разбил эпилептический припадок в соседнем дворе. Падая, она прокусила язык и теперь заметно пришепётывала. Слух её ухудшился — она врубала зомбоящик на полную мощность, а разгневаным соседям не открывала. Забавшись слушать диалоги сериальных героев, Шудегов доставал из ящика древние кассеты Цоя и Неумоева с зажёванной лентой, подклеенной кусочками прозрачной бумаги.

Иногда Коле казалось, что старуха — а женщины здесь быстро старели, и в шестьдесят пять лет Люся выглядела чуть ли не на восемьдесят, — не узнаёт его или с кем-то путает. Может, даже с тем, кто подстроил пресловутую автокатастрофу. Это событие смешалось в её башке с падением во дворе, работа в магазине — с работой её сестры в море; впрочем, была ли эта сестра?

Вечером шестого ноября 2009 года Шудегов заглянул в подсобку своего сына-слесаря. Удивительно, что этот юноша, учившийся в обычной хабзайке, тоже не жаловал всякое там Русское Радио. Более того, однажды он зашёл к какому-то журналисту поменять трубу, услышал не известную русскому народу группу Нурнос 69, и ему это понравилось. Но сейчас он слушал Земфиру. Отец и сын распили бутылку водки, и молодой слесарь стал высказывать претензии:

— Ты, батя, одет, как бомж. Запахло уже с тобой бухать.

— Иди ты, — злобно ответил Шудегов. — Дрянь всякую педерастическую крутишь. — Он вытащил из магнитофона диск Земфиры и хуйнул по нему топориком.

— Пиздуй в свою халупу, старый пидор, — спокойно сказал сын, которого было трудно вывести из себя. И Коля, враз утихнув, попиздовал, куда сказали.

В подъезде, в окружении шприцов и осколков, мяукала симпатичная серая кошечка. Шудегову стало грустно, и он унёс её к себе.

Вскоре кошка отъелась, шерсть её стала облачно-светлой и пушистой. Сантехнику было неохота придумывать для неё кличку, и он звал её просто кошкой.

— Сволочь, мне твоя бывшая говорила, что ты не крещёный, а только погружённый, — окликнула Шудегова Люся, когда он наблюдал за кошкой сквозь решётчатое окно первого этажа. Прутья решётки проржавели насквозь, их, наверно, было легко распилить, но Коле было плевать.

— Хочешь меня покрестить, что ли, дура? — усмехнулся он и захлопнул форточку.

— Снизойдёт тебе тишина в душу! — крикнула Люся. — Под ноги — твердь! В сердце — покой! — Шудегов испугался, что старуха вцепится в решётку и проорёт так до вечера, и налил себе водки, чтобы стало похуй. Кошка юркнула в приоткрытую дверь подъезда и помчалась по лестнице. Люся прокралась за ней, наблюдая, куда животное направится дальше.

На следующий день Коля отпустил кошку погулять, и она не вернулась. Он побродил по окрестностям, купил в ларьке банку «Балтики» и сел во дворе на сломанные качели. Почти засыпая, он увидел, что из-за угла показалась Люся с лопатой. Старуха прихрамывала и то и дело хваталась за поясницу. Но случилось чудо — она заметила Шудегова, распрямилась, вскинула голову. Раньше никто не слышал, как Люся поёт, а теперь у неё прорезался голос:

— Широка страна моя родная! Старикам везде у нас почёт!

Коля с тоской понял, что случилось, и что он, как выражалась его бывшая жена, интеллигент: он засыт врезать этой

падали, он не хочет закончить на зоне свою и без того хуёвую жизнь. Шудегов смял банку, запихнул её в урну.

Ничего, ничего, сказал он себе, ревматизм — значит, совсем плохая. А на хате у неё нет телефона, один допотопный сотовый, который она может забыть поставить на зарядку. И никто к ней не ходит, только раз в полгода сумасшедшая сектантка в розовых бусах поверх мятой ультрамариновой кофты. Жаль, что дверь антивзломная — *можно было бы придумать что-нибудь ещё.*

Оставшиеся на книжке деньги он потратил на гидроаккумулятор и насос, чтобы откачивать у соседей воду. Труба, что называется, заросла, и ЖЭУ не собирался её ремонтировать, иначе номер бы не прошёл.

Двое суток вода у соседей на втором, третьем и четвёртом этажах текла тоненькой струйкой. На третьи перестала. Днём к Коле кто-то ломился — он не открыл. Он заранее запасся ижевской водкой, дрянными колёсами из аптеки и блоком сигарет. Заодно выкрутил все лампочки в подъезде, чтобы старухе было стрёмно спускаться.

Есть не хотелось, только валяться в полусне. Мимо Коли проплывал неуловимый светящийся бред, композиции из разноцветных геометрических фигур, странные расплывающиеся предметы. Иногда он заставлял себя сходить в ванную включить воду, через полчаса или час выключал. Пошли четвёртые сутки.

На всей западной половине, да, но мы же не можем взломать, донёсся снаружи хриплый голос, — теперь частное пространство у всех, это раньше ничего не было. Этот урод у вас внизу трубы пластиком заварил и уехал на хуй. — Далее — неразборчиво. Затем другой мужчина поинтересовался, что делать, если в течение недели ублюдок не впустит мастера. Да чё, мне-то есть куда уехать за водой, ответило

мягкое контральто, а вот подо мной бабушка живёт, ей никуда не уехать. — Так, может, достучаться до старухи, принести ей воды. — Да ну, — так же мягко ответила жидовская мразь, — старуха... неадекватная, всех достала, перебьётся. — Недаром Шудегов прозвал эту суку жидовской мразью. Люди ещё немного потоптались возле его облезлой деревянной двери и ушли.

Помучилась? Теперь умирай, я разрешаю, подумал Коля; это была последняя горсть таблеток, скоро станет совсем хорошо, так, что даже музыка не нужна. Из-за тяжёлых коричневых штор и ржавой решётки слышались юношеские голоса — это студенты под пиво прочитали на контркультурном литсайте абсурдный стишок и повторяли его хором во дворе, как речёвку:

бей кошку домиком — будет кошка сомиком  
бей кошку ларьком — будет кошка хорьком

Шудегову представился ларёк, пожирающий кошек и выплёвывающий шаурму. Ничего, тихо и внятно сказал кто-то внутри, это сначала идут мрачные слова, а потом — совсем лёгкие.

бей кошку облаком — будет кошка облаком  
бей кошку кошкой — будет кошка кошкой  
бей кошку ничем — будет кошка всем<sup>1</sup>

Коричневая завеса исчезла, вокруг было прозрачно-синее небо, одно облако медленно, словно по невидимой лестнице, спустилось, и Коля увидел, что это его мёртвая, а теперь совсем живая, но облачно-невесомая кошка. Ты тоже по-

<sup>1</sup> Из стихотворения Алексея Никодимова «Методы рифмоударного воспитания кошек».

дохнешь, но тебя здесь не будет, шепнул он той, что осталась наверху, и тут же с удивлением понял: насчёт главного она не врала — никаких крыльев не отрастает, ты становишься невидимым, но ты всё равно что живой, только по-другому живой, не так, как раньше.

Старуху, говорите, давно не видели? Вскрывать её квартиру рановато, запаха ещё нет, сказал работник МЧС. Жильцы сгрудились вокруг него на тесной площадке, никто из них не боялся трупов, а один подросток достал сотовый, чтобы заснять всю хуйню, но отец прикрикнул на него. Да, рановато идти наверх, добавил отец: первое время ты мёртвый никому не мешаешь, ну, почти никому.

*март 2011.*

## ТЬМА ТЬМЫ

От предыдущей жизни Илону спасали мелкие детали, на которых, как известно, и принято фиксировать женское внимание: льняное полотенце, совсем не использованное, но за годы лежания в бабушкином чемодане истончившееся, словно кожа на старом лице; сухие ветки синеголовника в вазе, вырезанной из куска дерева; тёмно-зелёный рисунок на обоях в возвращённом доме. Что до покинутого жилья, то внутри оно было покрыто белой декоративной штукатуркой



— ни тебе бумажное сердечко пришить, ни плакат. Пустые стены, техника и постель в полкомнаты. Илоне стало казаться, будто здесь то ли прозекторская, то ли тайная лаборатория, замаскированная под квартиру малообщительного программиста. Однажды ей приснилось, что белая простыня срастается с матрацем и превращается в пластиковую разделочную доску. «Ты слишком нервная», — сказала Ольга. Если раньше она произносила эту фразу усталым понимающим тоном, то сейчас её голос звучал безынтонционно, знакомый голос, ставший ничьим. Илона ушла в ванную, открыла кран. Вода уплотнялась, оборачивалась вокруг шеи, словно ткань, словно на тебя натягивают одежду, которая сотрёт с тебя всё женское, а потом — оставшееся человеческое. «Я так больше не могу!» — крикнула Илона.

— Опять переключатель сломался? — равнодушно спросила Ольга. — Давай починю.

— Нет, — вымотанно ответила Илона. — Я. Вообще. Здесь. Не. Могу. Я не знаю, что с этим делать.

— Делай что хочешь. Иди к психотерапевту. Собирай себя в кулак. Или собирай вещи. Никто не держит.

Илона обернулась к окну. За стеклом висел мёртвый паук. Если смотреть сквозь слёзы, крест на его спине постепенно расплывается: свастика, шестигранник, пятно Роршаха.

— Да, пожалуйста, уходи, — добавила Ольга. — И свои чашечки с лилиями не забудь — нечего захламлять мою квартиру.

Теперь всё в порядке, сказала себе Илона, глядя в зеркало. Да нет, блядь, не в порядке: у Ольги, которая на пять лет старше, первые морщины ещё не наметились, а ей, Илоне, уже не помогает ни ледяная вода, ни крем с эластином. «Вроде бы, мужественным женщинам, как и мужчинам, долго сохранять молодость не обязательно, почему же

природа так обошлась со мной и так обошлась с ней?» Илона замазала круги под глазами тоном от Estée Lauder, присмотрелась к себе и повеселела: всё не так плохо, да и зачем она, собственно, вспоминает эту идиотку перед свадьбой?

Жених в выходные возил её по магазинам, но ей ни одно платье не нравилось. Сегодня он был на работе допоздна, мать уехала в командировку, и Илона подумала, что так даже лучше: будучи предоставлена сама себе, она почувствует себя настоящей эгоисткой и сделает правильный выбор.

Она полистала журналы мод, заглянула в магазин знакомой — ничего нового; вышла из такси в соседнем районе и решила прогуляться от скуки. Лиловые и охристые немецкие дома, таблички: «Аптека», «Ювелирные изделия» и вот, наконец-то, «Свадебный салон». Сквозь стекло сверкал наряд в немыслимых рюшечках, с юбкой-кринолином. Вход — через подвальный этаж.

Посетителей, кроме Илоны, не было. Она прошлась по залу, рассматривая образцы. Женщина средних лет, дремавшая за кассой, встрепенулась:

— Какое платье вы хотите?

— Такое, как на витрине! — воскликнула Илона, словно превращаясь в наивную старшеклассницу, мечтавшую потерять невинность в первую брачную ночь при свечах.

— А вы знаете, сколько такое стоит? — прищурилась женщина.

— Я за него отдам, что угодно, — засмеялась Илона. Из подсобки вышла другая сотрудница, задумчиво посмотрела на неё большими чёрными глазами.

— Вы такая красавица, — сказала она, — похожи на мою дочку. Давайте я вам бесплатно сошью. Долго ждали свадьбу?

— Очень, — ответила Илона, хотя ждала всего три месяца.

Через три дня она, не верящая своему счастью, забрала тщательно перевязанную коробку.

— Отметим? — предложила она жениху. Андрей неопределённо хмыкнул и завёл машину. — Пожалуйста.

— Я ребятам обещал на футбол это самое, — отозвался Андрей, осторожно выруливая к бывшей кирхе королевы Луизы.

Илона стояла перед зеркалом. Сейчас ей казалось, что белая ткань плохо сочетается с искусственным загаром — чёрные кружева были бы уместнее. Но в целом ей нравилось. Она подошла к окну, чтобы задёрнуть шторы.

— Илона, — тихо окликнул кто-то. В доме точно никого нет, подумала она. В доме точно никого нет. Девушка обернулась к зеркалу. «Там, внутри, холодно, — прошептал кто-то за её плечом, — не уверена, что выдержишь, не приближайся». Вокруг головы Илоны в зеркале расплывалось чёрное пятно.

Илона проморгалась, отражение стало прежним. Она осторожно дотронулась до холодной поверхности и тут же отдёрнула руку.

Номер, состоящий из восьмёрок и единиц, — то, что надо было вспомнить, чтобы не свихнуться окончательно. «Алло», — ответил знакомый голос, и Илона поняла, что не может говорить.

— Алло, — устало повторила Ольга. — Вы номером не ошиблись?

— Да иди ты нахуй! — неожиданно закричала Илона. — Из-за тебя я жить нормально не могу!

— И это всё? — задумчиво поинтересовалась Ольга. — Всё, что ты хотела мне сказать? — На том конце провода раздались гудки.

Зеркало оказалось на полу; очертания комнаты расплылись, и вот уже над головой была сплошная темнота, а под ладонями — лёд. Он медленно таял, было слышно, как в глубине под ним плещется вода. Навстречу Илоне со дна поднимались утопленники — зеленоватая кожа, серые лохмотья, оставшиеся от одежды. Илона поняла, что если не закричит, то через несколько секунд не сможет сказать уже ничего.

— Заткнись, ты, дура, — пробормотал Андрей, нашаривая выключатель, — мне в семь вставать. Спятила, что ли, совсем?

Илона не открывала глаза. Снаружи ползали пауки, их следы, различные сквозь зажмуренные веки, были светящимися точками. Не хотелось смотреть на них ещё и с обратной стороны.

— ...и она такая вся, с белыми волосами, в розовой кофточке, подкатывает ко мне и от стола отталкивает. Типа, чего ты шефу глазки строишь. А я чё, терпеть буду? Я её тоже такая пинаю, она такая в слёзы: дайте мне на такси, я отсюда уеду и не вернусь.

— А на маршрутке не судьба?

— Да ты чё, она же у нас звезда!

Илона затушила последнюю оставшуюся сигарету. «Ты такая бледная», — участливо произнесла её бывшая одноклассница в белой кофточке и с розовыми волосами. У Илоны закружилась голова. «Я просто устала, я пойду».

— Оля, — сказала она, набрав во дворе кафе восьмёрки и единицы, — нам очень нужно встретиться, слышишь? Я больше ни с кем об этом говорить не смогу.

— Ладно, — после паузы ответила Ольга, — мы придём.

— Мы?!

— Ну да. Ты ведь понимаешь, что я не сижу в одиночестве.

Из проржавевшего жёлоба в яму на брусчатке натекла вода, под этой, летней, водой был лёд, под ним — пустая темнота или мёртвые люди.

— Оля! — крикнула Илона, и голуби испуганно вспорхнули с перил. — Приходи, пожалуйста, одна.

Теперь Ольга могла решить, что Илона замыслила плохое, и не явиться вовсе. Но через час она уже поджидала на перекрёстке.

— А зачем ты зашла туда? Я предупреждала, что не надо, ещё в прошлом году, когда все первые и подвальные этажи затопило, кроме этой лавочки.

— Я не помню, — растерянно ответила Илона. Подробности жизни с Ольгой стирались очень быстро, будто кто-то расчищал в её голове пространство для других, общественно одобряемых вещей. — А что, разве было какое-то наводнение?

Теперь было ясно: Илона пыталась бессознательно отомстить, сделав то, что Ольга не советовала. Завернуть за угол немецкого дома с тёмно-розовым балконом. Это всё, что сохранилось у неё в голове после ссоры.

— Они крадут голоса, — пояснила Ольга. — Ещё в начале тысяча девятисотых годов украли у одной девушки и прима-нили на него банкира, как ребёнка на пирожное. Банкир стал слышать по ночам самые безумные обещания, а закончилось тем, что под мостом во втором часу он передал неизвестным пачку денег — для революционных целей. Самой барышне голос был не нужен: она была слишком робкой, чтобы порвать с приличным окружением и пойти в актрисы, как ей хотелось. Так что добро, понимаешь ли, пропадало. Но это раньше они работали на принцип справедливости, сейчас измельчали. Возможно, они просто тебя пугают. Ради собственного удовольствия.

— А откуда ты всё это знаешь?

Ольга замялась.

— Это было очень давно, я не помню подробности.

— Вот и отлично, никто ничего не помнит. Не удивлюсь, если узнаю, что ты продавала им чужие голоса, а потом забыла, и за это они тебя не тронули.

— Да нет же, — сказала Ольга. — Мой голос — без пола и возраста, он всё равно что ничей, они не настроят его на нужный регистр. Я могу поселиться напротив них, каждый день мелькать перед глазами, и они будут обходить меня стороной. Верни им платье: если даже перед революцией они не делали ничего бесплатно, то сейчас тем более. — Илона хотела сказать спасибо, но телефон Ольги зазвонил, это была её подруга — наверно, не такая психованная, как Илона, и, наверно, привыкшая к удобной обуви и джинсам — не надо замедлять шаги рядом с ней, не надо часами ждать, пока она соберётся на вечеринку, и покупать для неё в аптеке пикамилон и глицин.

Илона обогнула здание с тёмно-розовым балконом и увидела на подвальной двери амбарный замок и объявление: «Сдаётся внаём». Рядом, на фонарном столбе, — полуоборванный листок: «Создание. Изменение. Ликвидация. 33-03-00». Девушка в отчаянии огляделась, махнула рукой и положила кое-как перевязанный атласными лентами пакет на верхнюю ступеньку. С подоконника соседнего дома соскочила кошка и уставилась на Илону: глаза у неё были не жёлтые, а чёрные.

В стенах и потолке всё ещё оставались аккуратные прорези в виде геометрических фигур. Не бойся, сказал кто-то, это тьме вечно от нас нужно, а есть ещё тьма тьмы, ей нет никакого дела до нас. К ней можно прикасаться, это не

страшно. Илона поднесла руку к небольшому чёрному прямоугольнику, светящемуся над головой и он лёг в её ладонь, как холодный металлический брусок. Мгновение спустя его уже не было, а в ладони Илоны зияла чёрная прорезь. Почему я не чувствую боли, только ужас, успела подумать она. Вскоре она словно со стороны, наблюдала, как её, бьющуюся в истерике, оттащили в ванную и сунули ей голову под холодную воду.

— Отстань от меня, — завизжала она, пытаюсь вырваться. — Ты мне не нужен, оставь меня в покое, все оставьте меня в покое — навсегда.

— Ты, блядь, дура, — ответил Андрей, — я столько денег потратил, да ещё на эту свадьбу чёртову занимал. Пиздец.

— Тебя только деньги интересуют! — крикнула Илона, отбрасывая со лба мокрые пряди. Можно подумать, раньше это было непонятно, сказал кто-то со стороны. В зеркале не было её лица, только мыльные потёки и розоватые полосы, похожие на тонко нарезанное мясо.

Теперь не будет никаких свидетельств о браке, никаких посторонних, явившихся пожрать на халяву, никаких идиотских тостов, теперь спится спокойно и никто не присвоит ни единого твоего слова. Наступила суббота. Илона надела хлопковую лиловую футболку, джинсы и кеды и снова поразилась, как легко и свободно в этом двигаться. Она попросила таксиста остановиться возле краснокирпичного здания с витиеватой надписью вдоль стены. «Давно вас не было», — сказал гардеробщик, которому она протянула свою почти невесомую ветровку и почти просроченную клубную карту.

Полутёмный зал был засыпан какой-то белой дрянью, кажется, пенопластовыми шариками, имитирующими снег, ходить по ним было неудобно. Как бы «зимняя» вечеринка

— ну, хорошо хоть не кидались пригоршнями натурального песка. Илона допила мятный коктейль, медленно вышла на танцпол, закинула руки на плечи незнакомой стриженной девушке. Краем глаза она заметила сидевшую на подоконнике Ольгу.

Танец заканчивался, помещение заполнялось запахами конопли и яблочного табака. Илона приблизилась к Ольге.

— Привет, — сказала она, как будто накануне или год назад ничего не произошло. — А где Юля? — спросила Илона, имея в виду последнюю Ольгину любовницу.

— В Варшаве, — равнодушно ответила Ольга, вертя в тонких пальцах бокал.

— Я скучала по тебе, — сказала Илона.

— У тебя все джинсы в конфетти, — сказала Ольга, — отряхнись.

— Я скучала по тебе, — повторила Илона.

— Ты ведь со мной не выдержишь, — улыбнулась Ольга, — зря ты это, совсем зря.

Илона подняла голову и увидела, что в клубе, кроме них, никого нет. Сквозь жалюзи можно было различить настоящий снег, сыплющийся в никуда. Земли нет, поняла Илона, только сплошная пустота. Ей показалось, что горло стягивают невидимой плотной тканью. Настоящий снег был и в помещении: то, что раньше выглядело как пенопластовая крупа, превратилось в желтовато-серые сугробы, они росли на глазах, на их верхушках обозначились собачьи морды. Они залаяли, готовые наброситься. Илона вжалась спиной в стекло, Ольга тряхнула её за плечи: «Очнись».

— Не надо было мешать спиртное с донормилом, — сказала Илона. — Извини, мне уже лучше.

Ольга вывела её на улицу, тяжёлая чёрная дверь лязгнула за ними, как собачьи клыки.



— Они здесь, — прошептала Ольга, — бежим, только не к проезжей части, там будет хуже, — дальше есть место, куда они не войдут.

Илона отчётливо слышала мужские голоса; странно, подумала она, раньше ей казалось, что преследовательницами были женщины — или они просто выполняли чужие распоряжения? Ольга схватила её за руку, и они помчались по тёмному проулку, сквозь чужие дворы. Илона была не такой выносливой, как подруга, и вскоре начала задыхаться. Фонари погасли, позади слышались угрозы и ругательства. На секунду Ольга выпустила руку Илоны, оглянулась и увидела клубы холодного серого дыма там, где недавно бежали люди. Вокруг неё было пусто.

Оставалось последнее. Ольга подбежала к серому одноэтажному зданию с заколоченными окнами. Дверь с треском распахнулась. Ольга исчезла внутри. Там было так тихо, что не каждый слух вынес бы такое.

Пол устилала стружка. Осколки стекла и обломки фанеры не шуршали под ногами, словно их совсем не было; второе окно, сделанное под самым потолком, было прямоугольником светящейся темноты. Делай же что хочешь, подсказал кто-то посторонний. Боюсь, я уже ничего с ними не сделаю, мысленно ответила Ольга. Значит, так было нужно, да? — Здесь ничего никому не нужно, напомнили ей, необходимость возникает только у вас, а здесь никого нет; иди, посмотри. Уже рассветало. Чёрный прямоугольник пропал, возле заколоченного окна, словно висельник в петле, показывался на паутинкедохлый крестовик.

Ольга достала из кармана платок, вытерла испачканные ободранные руки, вышла на улицу. Преследователей она обнаружила во дворе, закопанными в грязь, так что видны были только головы, в полутемноте их лица выглядели одинаковыми. Под взглядом Ольги головы начали таять, и

вскоре на месте захоронения были только две ямы с оплывающими глинистыми краями. Ольга прошла дальше, обогнула гаражи и увидела Илону: она лежала возле мусорных баков, из её горла торчали резиновые трубки: те двое забрали её голос, но не успели им воспользоваться.

2011.

## БЕТОНОМЕШАЛКА

Когда ты, блядь подзаборная, узнала, что можешь страшно измениться, и за это тебе почти ничего не будет, у тебя совсем крыша поехала. Оно и понятно: до этого двадцать

пять лет живёшь, как на поводке, не меняешь цвет волос, прописку, фамилию, sim-карту, музыкальные увлечения, даже воду в треснувшей вазе забываешь поменять, а то, бывает, и прокладку, и ни о чём после этого не хочется думать. Только в детстве промелькнуло перед глазами странное притягательное видение — водопроводчик, ещё не старый цыганистый мужик с дочерна загорелым лицом и внимательным взглядом: «Девочка, кто-нибудь из взрослых есть дома?» Взрослые были дома, а тебе, двенадцатилетней бледи подзаборной, внезапно захотелось, чтобы не было.

Девочка такая вся из себя девочка, ей хочется выбить у вас из-под ног табуреточку, подарить отравленную фиалочку, и чтобы потом об этом никто не узнал.

«Мама в детстве не баюкала, не говорила...» — читаешь ты в сборнике местной поэтессы, женщины с тонким птичьим лицом, и вспоминаешь раннюю осень в бывшем Пиллау: твоя мать режет салаты для приятельниц, одна из них явилась в купальнике, открывающем толстое брюхо. «Что ты так разжирела, Тамар?» — спрашивает случайно затесавшийся в эту компанию сосед. «Баба без живота — что мужик безо рта», — гордо отвечает она. А ты, вся из себя такая девочка-мамина-дочка, думаешь: если разрезать этим тёткам животы вдоль, оттуда посыплются мёртвые дети. А если разрезать промежность, там может оказаться не влажная слизистая оболочка, а второй живот, поменьше. Мать говорила: прислушивайся к мнению мудрых женщин и станешь такой же. С тех пор ты боялась их слушать и прикасаться к ним, чтобы не заразиться *животом*.

Так откуда в тебе взялось это свойство разгрызать поводки, эти ненужные склонности?

Однажды тебе захотелось швырнуть в своего парня комплектом оконных стёкол. Они бы разбились на мелкие куски, издали напоминающие бисер. Тебе хотелось плести феньки

из битого стекла, блядь подзаборная. Ты бы предпочла, чтобы он ушёл, выбрав из волос осколки стекла, но он не решился тебя оставить. Ты сказала ему: я знаю, ты плохо кончишь; через полгода ты прислонишься спиной к бетономешалке, а ещё через десять минут от тебя останется багровый труп, я так вижу. Он не ушёл и после этого. Такова одна из шуток судьбы, шуток, от которых тебя давно уже тошнит. А в пятницу вас в клубе остановила приличная дама, спросила, где здесь уборная. И ты наклонилась и крепко поцеловала её в губы, накрашенные красно-коричневой помадой, и тебе аж голову обнесло.

А присутствующие стервы прячут усмешки: ещё одна поддалась дурной моде, — кто-то даже фотографирует. Ты же у нас публичный человек, блядь подзаборная.

Мать говорила: найди мужчину, с которым всё как у людей. Но в постели с такими существами ты чувствуешь себя домашней курицей, которую хотят зажарить и съесть. Они смотрят на тебя так, что в голове у тебя вместо мозгов вырастает мёрзлая земля. Очевидно, им так удобно, а твоего мнения никто не спрашивал.

Мать говорила: выбирай головой, — а в голове у тебя мёрзлая земля.

Сцена такая: худшая врагиня, что прикидывается полезным сотрудником, отмечает развод. Тебе захотелось вермута на халяву, ведь ты даром что менеджер, всё равно дешёвая пьянь. У тебя были непонятные предчувствия, ты разнервничалась, даже захотела поскрести в подъезде стену и пожрать извёстки, как в школьные годы, когда не хватало кальция. У врагини дома незнакомка. Темноволосая, большеглазая, кажется, не вполне русская барышня, выглядящая гораздо моложе своих тридцати. Неулыбчивая, словно ей стыдно перед неухоженной хозяйкой за свои ровные белые зубы.

Потом выяснилось, что ей на самом деле никогда ни за что не стыдно, просто ей так удобнее — улыбаться ещё всяким там. Джон Уэттон на последнем альбоме скатился в какой-то джетроталл, устало говорит она мягким низким голосом. Ты ни у кого в этом городе не слышала таких голосов.

Когда она уходит, ты заинтересованно спрашиваешь у врагини, кто это, и она смотрит на тебя так, будто ты позволила уличить себя в ловле безнадзорных детей или подделке монет.

Местные демоны подсказывают: L, девушка в одежде излюбленных хипстерами брендов — из той же категории вежливых подонков, что и ты. Она пишет рассказы о смерти. Хорошо ли ты разбираешься в смерти, блядь подзаборная? Расщеплять гибель человека на составляющие, которые тут же уплывают от взгляда в недостижимую полутемноту, — это тебе не крота детской лопаткой убивать. Тебе кажется: писать о смерти — значит сильно обломаться в любви. Она представляется тебе на мосту, обречённо глядящей в воду, эта обманчиво хрупкая женщина-подонок, которая, кажется, не может не быть одинокой.

А на следующей неделе ты засмотришься на пушистых уличных собак с чёрными мордами, и тебя чуть не собьёт байкер; твоя новая знакомая возьмёт тебя за руку и оттащит обратно на тротуар, и ты удивишься: она, оказывается, сильная, гораздо сильнее меня. И ещё позже как бы случайно обронишь: у меня никогда не было секса с женщинами. Ну-ну, скажет L, недобро улыбаясь, не знаю даже, посочувствовать тебе или позавидовать.

Тебе неловко, очень стрёмно, она же такая сдержанная, спокойная, умные книжки читает. Ты давно уже не та, что трахалась с непромытым панком прямо в тамбуре поезда «Москва — Кострома», что пила вино из пакета, исписанного

матом (чёрный маркер, «fuck the putin» на фоне виноградной грозди). Порой сама себе не веришь. — Не лги себе, не ударяйся в бред интерпретации. Неужели это не твой однокурсник запихнул в спортивную сумку голубя, а потом колотил сумкою по асфальту, пока птица не убилась, не ты закусывала этой падалью водку из ларька? Не в твою сковородку сыпались с потолка прошлогодние дохлые комары? Не ты убегала от контролёров по вагонам электрички, идущей к морю? — Но присутствие L оживляет множество маленьких вошконосиц в твоём подсознании. Эту вульгарную школьницу. Эту гоповатую студентку. Эту самую скверную работницу конструкторского бюро. Тебе стыдно, что несколько лет назад ты, выпив подкрашенной молдавской бурды, рыдала над книгой Януша Вишневского, а как тут не плакать, ведь у героев был интернет, а у тебя его отключили за неуплату.

L, понимаешь ли, такой специальный человек, чтобы выгребать мёрзлую землю из ваших голов.

Электричка, ведущая к морю, спасёт тебя, решаешь ты. Если L будет там рядом с тобой, у тебя завершится гештальт, и при виде кондукторов больше не будет стыдно. L не любит электрички.

Ты не знаешь, как к ней подступиться. Точнее, знаешь, ты же блядь подзаборная. Но дешёвые шлюхи ещё и тупые вдобавок. Они боятся своих настоящих желаний, если не уверены, что за их осуществление получают условные единицы. Нехорошо приставать на четвёртый вечер, надо подождать месяц или два. Вы гуляете по безлюдному парку Калинина, L неожиданно наклоняет твою голову и целует, и ты начинаешь бояться гомофобов.

Бог — это не чёрная лесбиянка-социалистка и не шлюха вроде тебя. Возможно, он просто упоролся эссенцией из

грешных душ, и ему мерещится, что он превратился в лесбиянку, но это скоро закончится, шепчут тебе мстительные местные божества. Но этой ночью ты чувствуешь: бог, если он есть, именно такой. L говорит, зажигая легальный курительный лотос: «Я очень устала; ты спрашивала, что со мной случилось? Моя любимая девочка стала встречаться с каким-то уродом. Это было давно. Она только два дня назад перестала мне сниться. У неё и моего любовника глаза одного цвета, и каждый раз, когда я пристально смотрела на него, мне вспоминалась К.

Сначала она рассказывала, что против фрилава ничего не имеет. Ну, думаю, посмотрим, ибо слишком хорошо знаю: на деле половина приверженцев фрилава исповедует вполне традиционные взгляды. Потом я с ней встретилась, всё было нормально, пока она не спросила: ты помирилась с другом? Я ответила, что да, не подозревая, какая ерунда после этого начнётся. Как выяснилось, буквально на следующий день К. начала встречаться с каким-то малолетним болваном, хотя накануне говорила, что мальчики ей совсем не нравятся, кроме самых охуенных. А в малолетнем болване ничего охуенного нет, кроме того, что в двадцать лет он уже в дверь не пролезает. Вскоре мы опять пересеклись, она спросила, общаюсь ли я со своим другом. Я ответила: да, а что? После этого К. перестала звонить, писать и вообще пропала».

Тут в тебе и проснулся моралист: L, известная в квир-сообществе, — и вдруг встречается с мужчиной? Истинная шлюха — всегда лицемер и резонёр, блядь ты подзаборная. Тебе нужен был проводник по чужому миру искажений, чистый от влияний твоего привычного пространства. В то же время тебя радовало, что L на самом деле немного своя, в чём-то понятная. Ну что ты, мы с ним уже не вместе, произнесла она успокаивающе. Может, мужчины нужны были ей

просто для эксперимента, подумала ты: сможет ли она устоять или сдастся обществу, согласится на штамп и детей.

В ответ на твоё робкое и шаблонное «я ещё не определилась, чего хочу на самом деле, в жизни надо попробовать всё» она в двенадцать ночи притаскивает к тебе домой готочку с кладбища. Девушка выглядит на четырнадцать и пьяна в хлам, кисть её правой руки обмотана бинтом, поверх которого — шипастый браслет. Главное, деловито сообщает L, потом как следует умыть эту чёрную овцу, чтобы наутро она не пугала людей, особенно свою бедную мать. Не беспокойся, добавляет L, она совершеннолетняя, пока она спала в такси, я полистала её паспорт. Хочешь, покажу?

Если хорошенько подумать, говорит L (совершенно трезвая, между прочим), это разновидность агхорической практики. Я давно не жила возле кладбища. Меня это огорчает: там так тихо, дети не визжат — я же не педофил, а то вдруг ты заподозришь что-то плохое, я наоборот педофоб, я к детям равнодушен, но когда они орут, мне хочется запрянуть их в тёмные ледяные толщи. L иногда забывает, что ей следует говорить от женского лица, но позже спохватывается. Ты говоришь: спасибо, милая, — пытаюсь сохранить верность ироническому тону, но тебе как-то совсем серьёзно и сумрачно.

А потом ты приходишь на одну из её продаваемых квартир, там вещи уже собраны, аккуратно так, без намёка на пресловутый творческий беспорядок. Полпервого ночи, наверху грохочет русский рэп. Не беспокойся, лениво произносит она, менты вызваны ещё полчаса назад, ещё через час либо народушко затихнет, либо участковый таки явится. Раньше они редко приезжают — кстати, в связи с этим надо написать на инстанцию выше. — Как это по-обывательски,



думаешь ты. L заваривает чай, в дверь ломится лейтенант, и L не спеша выходит на площадку обсуждать с ним методы борьбы с дебоширами.

Ты расстёгиваешь огромную клеёчатую сумку, набитую книгами, — что за нищевродство, давно пора всё это в библиотеку отдать и купить нормальный ридер, — натыкаешься на книгу с черепом на тонкой глянцевой обложке: «Торговка детьми». Дальше — хуже. Тебе мало того, что ты однажды увидела на экране её компьютера, блядь подзаборная; кстати, почему тебя так смущает интересующая L тема каннибализма — неужто для здоровья полезнее закусывать городскими птицами?

Понимаешь, блядь подзаборная, ты заключаешь женский сволочизм в резную тонкую рамочку из красного дерева, а он шире и выше. Плести сети для соперниц, читать «Настольную книгу стервы», уязвлять других женщин, надевая на концерт блузку со стразами хотя бы на пятьдесят долларов дороже, чем у самой форсистой из них, растворять чужие намерения, как сахар в стакане чая, — это не всё. Я переросла стервозность, говорит тебе L и улыбается, открывая безупречно ровные зубы. Это хуже стервозности, думаешь ты, глядя за её плечо, в монитор, на котором мелькает заставка. Детское порно — это скучно, продолжает она, для тех, у кого и так было не детство, а сплошная порнография. Тебе не надоело приписывать мне перверсии, к которым я не склонна?

Сейчас придёт лейтенант составлять протокол, я должна буду подписаться как свидетель. Скажешь ему, что подозреваешь меня в педофилии? — Ты молчишь, и тебе очень хочется уйти. — А у меня на компе нет ничего — живого, цитирует L героиню своего старого рассказа и открывает для тебя окно с изображением чешской костницы.

Книга Лидии Ланч в её сумке заложена листами А4 с медицинским заключением из военкомата за 2007 год. Военный психиатр счёл здоровье Л хорошим, годным. Ты перестаёшь понимать, что это за ерунда.

*«Скажи ему, что подозреваешь меня в педофилии».*

А помнишь эту распечатку, вызвавшую у тебя ужас и оторопь, — Л читала её, посмеиваясь:

«Неотроцкизм подразумевает, что для принятия какой-либо идеологии нужно убить индивидуальность и сформировать сконцентрированную личность, и что это большая ответственность. По крайней мере, я так вижу ситуацию.

Я вовсе не хочу, чтобы ты бросала литературу или прекращала писать. Но вопрос в том, насколько ты сможешь писать так, как пишешь сейчас, если примешь предлагаемую доктрину? И вообще, чтобы держать общество на революционной волне, нужны не писатели, а идеологи и лагерные надсмотрщики.

Тем не менее, я считаю литературу «грехом» саму по себе; непонятны тусовки, официоз журналов, грызня литераторов и т.д. Писатели вообще не должны общаться друг с другом, а редакторы могут руководствоваться исключительно ценностью произведений того или иного литератора. Мне кажется, что детям высокопоставленных чинуш или литераторов нужно запрещать лезть в эту сферу. В целом же, мне близка идея «литературно-сакральной целесообразности»: всерьёз писать можешь только тогда, когда чувствуешь, что готов умереть без ручки и бумаги. Сам я могу спокойно не писать месяца два, особенно когда много работаю. На полу тоже могу спать, вот только от колёс трудно отказаться — от них зависит моя работоспособность».

Это твой друг, хмуро спрашиваешь ты, и Л терпеливо поясняет: «Прототип. Тогда я раскрутила его на такие открове-

ния, что мне поаплодировал бы профессиональный гештальт-тист. Было время, когда ко мне тянулись подобные экземпляры».

«Ты, мне кажется, по-настоящему изменилась за время, прошедшее с момента знакомства».

«По-настоящему меняются только мёртвые, — спокойно отвечает L, — немного полежали в земле, и уже их не узнать. Что там наши пустяковые перемены на клеточном уровне».

Ты была бы рада устроить скандал, только не из-за чего. Нет никаких причин. Ещё меньше причин, чем для страха перед мертвецами.

А потом она исчезает, номер не отвечает, её друзей ты не знаешь: что литераторы, что айтишники — люди закрытые и неохотно подпускают к себе девочек-таких-девочек, но через неделю появляется Юля (одна из многочисленных, сделавших это имя нарицательным для L, она даже говорит, мол, Таня, ты ведёшь себя, как натуральная Юля), сообщает, что можно зайти к одному флэш-программисту: по слухам, L там временно живёт. Ты, понятное дело, нетрезва. Работа задолбала, вокруг козлы, нет денег на «Хонду», а ты же девочка и хочешь ломать у самого высокого дерева веточки, стоя на лакированной лесенке.

Юля неадекватна и несёт бред, не имеющий отношения к ситуации. Добравшись до разноцветной новостройки флэш-программиста, она орёт под окном:

«У тебя виски ещё осталось?!»

В квартире бедлам, одна комната полна людей, другая пуста. Ты заходишь туда, из-за стены доносится буржуазная песня «Tomorrow will be mine». Девичий голос громко сетует: «Мне нужен человек, разделяющий мои убеждения, или хотя бы хипстер».

L — а это кто, недоумеваешь смахивающий на хипстера парень со стаканом в руке. Ты начинаешь кричать. Так и не вспоминаешь наутро, что. Тебя пытаются вывести, ты сопротивляешься.

«Что это такое, майн либен хуй? — ворчит хозяин квартиры, не более трезвый, чем Юля. — Вызовите в пизду этой тёлке такси». «Володя, ты не джентльмен», — отвечает хипстер и захлопывает перед тобой железную дверь.

Ты рыдаешь в подъезде, мечтая, чтобы он стал тёмным, заплёванным, с паутиной на потолке, чтобы тебя увидела мягкосердечная бабушка. Крашеная блондинка модельного роста мерит тебя брезгливым взглядом и поднимается по лестнице. Невыносимо светло. Наконец к тебе подходит относительно приемлемый собеседник — неопрятный поддатый мужик. Продолжать?

Если содрать асфальт и копнуть на глубину двух-трёх метров, не найдёшь ничего, кроме костей и старых монет. Под защитными человеческими барьерами живых сердец уже не бывает, иначе это не настоящий барьер, а раскрашенная сортирная перегородка.

Конечно, вы с ней встретились снова. У кассы супермаркета. L говорила, что ей везёт на людей из этого района? Рядом с ней был высокий мужчина лет сорока, показавшийся тебе смутно знакомым. Все публичные люди города смутно знакомы между собой.

«Ну и завалы, — жаловалась L, — когда они наконец отремонтируют дорогу, это не жилой квартал, а декорации для румынского артхауса». «Давай, кстати, что-нибудь посмотрим сегодня, — отвечал её спутник, — или ты устала?» — Он задумчиво смотрел по сторонам, а L, кажется, никого в упор не видела — это редкий талант, иметь отличное зрение и никого, если понадобится, не видеть в упор. Под его мягким

насмешливым взглядом ты поняла, что зря надела эту леопардовую кофточку, блядь подзаборная.

Ну что ты ревёшь, это она тебя называла блядью подзаборной, это я её цитирую — тебе нравится, как твоя любимая женщина о тебе говорит? Это она-то против языка культуры насилия?.. Мало ли что она пишет в интернете. Знаешь, что на самом деле произошло у них с К.? L заявила, что уйдёт от своего подонка только ради бесплатной домработницы. Она с ним не расставалась насовсем, это была небольшая размолвка, если что. К. вежливая девочка, я бы вообще за такое к чёрту послал. Ты, может, опять хочешь бросить в меня комплектом стекла, но у тебя его нет, зато я нашёл твою медкарту, завтра запишешься к психиатру. Придётся подробно рассказать ему, почему ты хочешь, чтобы я попал в бетономешалку. Не бойся, я от тебя не уйду, ну и что, что ты дура, тёлки у всех тупые, только женщины не выдерживают глупости других женщин, а мужчины ответственные и заботятся о семье. А начнёшь истерить — быстро и без всяких транквилизаторов выбью из тебя дурь.

2011.

## БОРОДА УРИЦКОГО

Акционист Урицкий раздражал Аню больше, чем остальные антифа. Разве может порядочному человеку нравиться еврей, который вырезает у себя на спине татуировочной машинкой цитаты из Делёза и Гваттари?

На Аниной стене была нарисована свастика, по правую сторону от которой висела фотография Гитлера, а по левую — Урицкого. Однажды пьяная Аня, как и подобает истинной, хотя и обрусевшей, немке, бросала дротики в левую рожу, но каждый раз попадала в Гитлера. Так работает либертарная магия, и если ей не воспрепятствовать, она уничтожит мир.

Началась эта история с того, что Урицкий в своём популярном блоге вывесил следующее:

«Наткнулся сравнительно недавно на прекрасный ресурс.  
<http://www.nietzsche.he:ll.ru/>

Присутствует полный комплект: возрождение-аристократии, банду-путина-под-суд, ницше, сталин-берия-гулаг, четырнадцать-восемьдесятвосемь (местами), нераздаривал-курил, граффити-в-поездах, алина-витухновская, убить-всех-людей. Всё, вроде бы, на лютom серьёзе.

Быть может, весь проект — большая тонкая издёвка, но тогда мы имеем дело с большим коллективом талантливых стилизаторов, ведь помимо сайта есть ещё и живущий бурной жизнью форум.

Количество и градус ницшеанских дискуссий зашкаливают:

*«Вот кадры из одного сериала. Там есть Ницшеанцы. Как вы думаете хоть что-нибудь из того что они говорят*

*относится к реальным ницшеанцам. Или это вообще фрейдисты».*

Замечательные, мне кажется. Я намеренно не употреблял тег noindex. Надеюсь, что в комментарии к этой записи явится множество сверхчеловеков».

Аня не замедлила явиться, конечно. Её комментарий запомнили десятки чтецов:

что ты блядь идиот о ницше знаешь?  
пару афоризмов ты блядь прочитал?  
нахуй блядь, ты думаешь что шопенгауэра понимаешь?  
да ты его с шопеном путаешь, тля!

думаешь ты блядь что забавное ученье  
о заратустре сделало тебя блядь умней?  
да ты диадок блядь нихуя ты не понимаешь  
не о том ницше писал вообще совсем!

ты блядь дурак, казёл бля,  
тебе недоступен философ  
что в безвоздушном пространстве мыслью парил.  
что, думаешь про сильную личность написано в «так говорил заратустра»?  
иди, говно свое понюхай, дебил!

вопщем навоз вилами блядь лучше ворочай или в говне копайся  
иди, rammstein послушай, у подъезда с пивом бля посиди,  
ницше вам суки бляди не понятен.  
не понять его вам никогда... увы... увы...

Урицкий ответил:

«Боюсь, осень не ответит мне, качая головой. Но всё же спрошу. Что оскорбительного в том, чтобы быть сераскиром при Искандере Двурогом?»

Аня процитировала:

«Всякий свободный дух подобен александру штурмом он покоряет города и царства но нет у него наследников и

завоеванное им царство свободы достается в удел диадохам и правителям комментаторам и толкователям которые неизбежно становятся рабами слова.

Впрочем, вы не удивили меня: в рашке и тем более украшке Ницше никогда не поймут».

«Аня! — отвечал Урицкий, отложив буржуазную трубку из вишнёвого дерева. — Вы, в общем-то, талантливы, в вашей поэзии есть то самое дикое мясо, которое ценил Мандельштам. Но вас не будут печатать в бывшем USSR по той же причине, что и Дэвида Бриттона. Вы это (подсознательно) понимаете, и вас корёжит, плющит и колбасит. Ничего, и это пройдёт».

Аня в гневе воззрилась на монитор. «Мандельштам»!.. Вся борьба таких оппозиционеров — приковываться декоративными наручниками к ржавой ограде посольства, читать Мандельштама и сверкать голой жопой на снегу.

Наутро акционист порадовал читателей чем-то совсем ужасным:

«Называют Россию рашкой, в основном, мерзавцы и дураки, мечтающие о правильной империи — Руси. Эти гитлеровцы и, хуже того, долбославы ползают по свастике, как клопы по грязному общежитскому матрасу».

Это было последней каплей. После этого Аня написала стихи, достойные пера Чаадаева:

на родине все мне не рады  
вот грязный ползёт лоховоз  
и скалятся русские гады  
среди распроклятых берёз

в квартире бухая хозяйка  
с ухмылкой смолит «беломор»  
и глупо звенит балалайка  
про наш всероссийский позор



стоят у ларька ебанашки  
друг другу ментами грозя  
и сжечь бы поганую рашку  
да только не выйдет. нельзя.

— Боже, Аня, что за дрянь ты повесила в сети! — воскликнула мать поэтессы. — Что ты так на меня смотришь — разве приличная русская женщина порадуется, что её дочь — гитлеристка и русофобка? И только попробуй соврать, что это не твой журнал.

— Я поэт-концептуалист, — смущённо ответила Аня. Ей даже расхотелось есть жареные куриные сердца, приготовленные по старинному русскому рецепту. — Действительно, с чего ты взяла, что это я? Мои произведения — на сайте polutma.ru, а весь нацизм — за авторством какой-то другой Ани.

— Папин сослуживец Зильберман сказал, что тебя процитировал в ЖЖ левый радикал, некто Урицкий. И привёл твою настоящую фамилию. Убери свой мусор! Немедленно! Убери это говно!!

Мрачной ночью, после полбутылки вермута, фашистка размышляла, что делать. Обратиться к знакомым хакерам? Урицкий сам хакер, да и взлом не поможет ему отказаться от несправедливой и жестокой идеи, а главное — скудоумия. Нанять киллера? Но русская мама не даст на такое денег.

Было решено создать фейковый аккаунт the\_same\_uritsky. Некоторые потом даже повелись.

Девушка ознакомилась с трудами ведущих левых теоретиков и сходила на один митинг, дальше пошло по накатанной:

«Товарищи и сочувствующие! Я разработал план новой акции. Отращиваю бороду, чтобы заплести её в пять косичек по числу коммунистических лучей и завязать красными ленточками. Утром следующего шаббата, встав между

церковью и Верховной Радой, я нарушу сразу несколько запретов:

- буржуйский, на социалистическую символику;
- ортодоксально-иудейский;
- христианский;
- общественной нравственности и морали.

Мои сторонники принесут из дома ящики со старой и новой хрустальной посудой, которую разобьют об асфальт, что символизирует гибель как позднесоветского, так и современного накопительства, а также хрустальное утро антифашизма в противовес хрустальной ночи. Присоединяйтесь, кто может, иначе будете захаваны, выплюнуты и прилеплены к позорной доске хаоса, как жвачка — к сиденью в трамвае».

Отзывы потекли широкие и разнообразные:

«Хватит косплеить урицкого, двуногая мрась, иди ебись у мусоропровода, и дворник заплатит тебе за это бутылкой жигулёвского пива. А тут ты просиживаешь жопу бесплатно, бессмысленно и беспощадно».

«Ха-ха, долбоёбы антифа».

«Хороший стёб над антифа. Ох, автор, доставил! Пиши ещё!»

«Урицкому всё равно всё равно, он как не видит. Пишите ему в личку, если он вас чем обидел».

«бля анархи дебилы. С уважением black\_1488\_terrorist, 8-й «А»».

«Очень мило. Можно, я процитирую кусок в рассказе об анархистах? С уважением, Лера Визенталь».

Приближалось Рождество. Аня по-своему любила этот праздник. Было что-то нездешнее и пронзительное в холодной рождественской ночи, а русские детишки, ломившиеся в чужие двери с колядками, и пьяные люмпены на улице

трогали Анину душу своей наивностью, непониманием того ужаса, той бездны, которая вечно раскрывается над нордической головой. Это центр зимы, центр времени, и суета мещан вокруг этой, казалось бы, случайной, даты продиктована не государством и правом, а чем-то надприродным, о котором немислимо говорить даже на философическом немецком языке.

Вот она, Валхалла, в чёрной сияющей пустоте надо мной. Застынет на минуту и скроется. Какие перемены несёт в себе пустота?

Аня закрыла окна в браузере — Валлентайн, Де Леон, Зонтаг, Рубин, Штайнер, торжество чужебесия, красно-чёрные флаги идиотизма, но без них не поймёшь врага. Глубоко вздохнула — закончились сигареты, кофе, энергетики, но надо было сочинить последний издевательский пост.

*пишем the\_same\_uritsky, December 25<sup>th</sup>, 00:00*

«Подумалось, что у антиклерикалов должен быть обряд, противоположный причастию. Христиане превращают воду в вино, а вино — в кровь того, кому должны посвятить свою жизнь. С кровью в тело неопита входят паразиты, которые в итоге подчиняют себе носителя.

Мы, союз анархо-коммунистических хаогностиков, протестуем против извращённого понимания роли воды. Вода обновляет человека, а не селит в него червей и нездоровые идеи.

Предлагаю связанные с этим акции:

— стирка чёрного знамени, которое сейчас висит на моём балконе, в водах Днепра, что символизирует. Как зазеленеет, так сразу, но если кому-то приспичит сейчас, можно выйти на реку с ледорубами.

— превращение церковного кагора обратно в воду, т. е. собраться и поссать у Верховной Рады в присутствии фотографа и правозащитников.

— петиция о дезинфекции воды в фонтане, куда вечерами мочится гопота. В этот фонтан могут попасть дети коммунистов и заразиться безыдейностью.

Слава ситуационистскому интернационалу! Впереди Хаос! Долой государство!»

Аня нажала кнопку «Сохранить пост» и пошла в ванную. Очень хотелось спать. Казалось, что вода осторожно и почти небыстро отъедает куски тела, потом — ввинчивает невидимые шурупы и прилепляет что-то ненужное. Обмотавшись полотенцем, Аня побрела обратно в комнату — читать комментарии.

— Ты почему ещё не спишь? — зашипела за дверью мать. — Ноутбук столько энергии жрёт, а мы за это плати? За электричество, потраченное на твою русофобию!

Мать толкнула дверь и остолбенела: посреди комнаты стоял полуголый Урицкий с бородой, заплетённой в пять косичек, перевязанных красными шнурками. С этим надо было что-то делать. Разве приличная русская женщина порадуется тому, что её сын — еврей и акционист? <sup>2</sup>

2011.

---

<sup>2</sup> Прочитрованы стихи Ангелины Мессер (второе «русобобское» стихотворение — не её), а также фрагменты поста за авторством Александра «Шиитмана» Володарского.

## ВНИЗ — ЭТО ТУДА

Всё меньше остаётся свободных мегабайт на жёстком диске моей жизни.

Я смотрю из окна на детей: они так же, как когда-то их родители, рисуют мелом на асфальте символ анархии. Одной девочке достался мелок кислотно-розового цвета. Быть может, последнюю букву А вижу я своими усталыми глазами. А может быть, встречу и ещё одну или две...

Поверьте, мне не больно уходить. Тому, кто знает, что не зря прожил жизнь, нечего бояться смерти. Скоро мне исполнится семьдесят лет, из них пятьдесят отдано тщательно скрываемой борьбе против государства. Теперь молодёжь совершает паломничества ко мне домой и проёбывает мне мозги: напишите о нас, товарищ писатель! И далеко не всегда эти пушистые щеночки готовы послушать меня, а ведь рассказать я могу о многом: о питерских бомбистах, АКМ и ЕСМ, тоталитарных сектах и деле Шиитмана.

Но говорить я буду не о самом дорогом. Я буду вспоминать мрачное время, прагматичное и одновременно абсурдное. Ведь чем мрачнее ночь, тем дальше видны ментовские мигалки, и наоборот.

**Город В., 2011 год.**

Тридцать первого июля поэт-авангардист Владислав Краснолыков ушёл из редакции местной газеты, куда он регулярно являлся предложить стихов, а заодно — последить за своей пожилой супругой-корректором. Только в дверях он спохватился: забыл бумажник. Мигом взлетел по лестнице на второй этаж и распахнул дверь, ведущую в кабинет, оклеенный серыми обоями в розовый цветочек и украшенный портретом директора ликёро-водочного цеха — единственного крупного предприятия в городе. Место супруги пустовало, из-за перегородки слышались голоса верстальщика и ответственного секретаря, в узких кругах известного под псевдонимом Содомов:

— Да он ни о чём не догадается, старый сивый мерингеронтофил!

— Задолбал сюда ходить, его уже уборщица гонит от компьютера ссаными тряпками. Жена ему дома, что ли, монитор о голову расколотила? А курит он «Сибирские огни» без фильтра, хуже которых только «Прима».

Краснолыков понял, что речь о нём. Мысленно сосчитал до пяти, пригладил полуседую бороду и решительно шагнул за перегородку:

— Да уж, господа фантазёры. Я вас разочарую: у меня — три компьютера: не очень новый стационарный, новый ноутбук и совсем новый нетбук. Мне достаточно. И курю я (а курю я мало) не всякую пакость, о которой тут вещает Содомов, а вполне приличный табак.

Ответственный секретарь усмехнулся. У него была, что называется, правильная арийская внешность, но в этот момент он напомнил Краснолыкову хитрого кавказца-торгаша.

— Я рад, что клавиатуру и мышь тебе вернули на время. Жена их прячет в качестве превентивной меры, потому что ты в гостевой удафкома пишешь всякие гадости. Ведь правда? А последний раз, когда я тебя видел, ты курил что-то вроде «Беломора», то есть ни о каком хорошем табаке речи не шло.

— Кстати, где Наталья? — поинтересовался Краснолыков (корректорша и правда как сквозь землю провалилась).

— А бох её знает, — вежливо ответил верстальщик. — Может, ушла через чёрный ход, чтобы не столкнуться по дороге с тобой, может, из окна выпала. Мы не следили.

— Это да, — подхватил Содомов, — вроде, ещё не осень и уже не весна, а старухи всё падают и падают.

— Я бумажник забыл, — обречённо проговорил поэт.

— Это не к нам, это твоя благоверная, должно быть, уволкла.

Тон Содомова показался Владиславу каким-то странным, нарочито искренним. Об этом маргинале давно уже ходили слухи, что он тайно работает на «Единую Россию» и ворует вещи, книги и деньги. Краснолыков пристально посмотрел ему в глаза.

— Ты надоел, Слава, — сказал секретарь. — Мне пора редакцию закрывать, время вышло. Давай спустимся уже, это самое.

— Спустимся — это куда, на дно адово? Нет уж, иди сам... Да ты и так движешься туда во весь безбожный опор. Да и какой опор-то, опора-то какая? Ну, обопрись на презирующих христианство подонков, они ведь так усердно копируют посты из твоего живого журнала, боясь, что его снова заморозят за детскую порнографию.

Под насмешливым взглядом врага Владислав побрёл к столу супруги, стал перекаладывать папки с места на место,

надеясь найти этот ёбанный кошелёк, но тут из воздуха материализовалась уборщица Лариса:

— Пошёл, пошёл, пошёл из-за стола, мне под столом пыль вытереть надо, давай уже, не трогай, не трогай клавиатуру и мышь.

Дома жена заявила, что понятия не имеет, где бумажник, а редактор «Знамени» прислал по имейлу вежливый отказ. На потолке медленно росли грибы, плитка в ванной крошилась, а на лестничной площадке поселились бродячие собаки. Краснолыкову казалось, что скоро сама земля взбунтуется и камни зашевелиятся от такой несправедливости. Что ж, у него не было оружия, но он сам готов был встать живой стеной и голыми руками задержать наступление сатаны.

Геля затушила окурок о спинку скамейки. Она ждала. Снег, осевший на воротнике её пальто, напоминал козий пух.

Все двадцать восемь лет её жизни прошли в ожидании. Немцы, даже если это белорусские и поволжские немцы, отличаются рациональностью. Геля понимала, что быть поэтом в двадцать первом веке — всё равно что ехать на лошади по оживлённой автострате, но ничего не могла с собой поделать. Даже защита кандидатской по молекулярной биологии не спасла её от стихов. Она писала их на коленях в электричке, на стене вконтакте, на лекциях по матлогике. «Ангелина, — спрашивала строгая преподавательница, ненавидевшая национал-социалистов поклонница Окуджавы, — это что у вас — опять шпоры?» «Это не шпоры, — смущенно отвечала девушка, — я произведение пишу». Студенты смеялись, и Геле казалось, что литература и в самом деле — не стоящее выеденного яйца развлечение, помогающее скоротать нудную лекцию, но проходил день-другой, и она вновь осознала, что это её личный кошмар, отряд жучков-короедов, поселившийся в её голове.



Она писала о Гитлере.

Надо быть полным отморозком или адским шутником, чтобы писать о Гитлере и оставаться безнаказанным. Тем более трудно писать о Гитлере после Освенцима. Гелю не печатали в толстых журналах и интернет-изданиях, никто не сочинял о ней льстивые статьи. Она вывешивала стихи в живом журнале под псевдонимом engel. Однажды какой-то мудака вычислил, кто скрывается под псевдонимом, и пригрозил, что сообщит начальству Гели; журнал пришлось срочно удалить.

Но внутренний фюрер недостижим для цензуры. Геля прикидывалась тихой и скромной, но тот, кто был способен понимать, видел, как внутри её зелёных зрачков с бешеной скоростью вращаются свастики.

Некоторые понимали, но никто не хотел помочь ей, и однажды ночью, когда её либеральные соседи по общежитскому блоку спали, Геля написала в своём новом блоге готическим шрифтом: «Эта страна, эта планета и эта жизнь говно».

Тут и появился этот психопат. Называл он себя pigoras\_guxa. На аватаре была изображена детская порнография. В профайле значилось, что он — сотрудник авангардистского сетевого журнала.

«Моё почтение, барышня. Вы какая-то странная. Сами признаётесь, что не рассылаете стихи и прозу по редакциям, а потом жалуетесь, что вас не печатают, и везде говно».

«Я и не хочу печататься, — ответила она. — Это было минутное настроение, с нами, бабами, такое бывает. А все эти журналы — для мажоров и интеллигентов».

«Но ведь вы сами — биолог, интеллигент», — упорствовал «пидорас». Геля поняла, что кто-то из бывших френдов навёл его на очередной журнал тихой фашистки-аутистки. Сволочи.

«Биолог — в сущности, рабочий, — быстро напечатала она. — А большинство читателей, особенно интеллигентов, я дико презираю. Им нужна клоунесса, читателям этим ёбанным».

«А мне нравится ваша посконная истовость. Давайте дружить».

Геля в бешенстве свернула окно живого журнала, надела наушники и включила «Раммштайн». На следующий день психопат появился снова и спросил: «Как жить, когда в нескольких шагах граница, отделяющая глупость от гениальности?»

Прошло немало времени, прежде чем Геля почувствовала своего рода солидарность с этим маргиналом, пропагандирующим свободную любовь и раскрепощение детей. В конце концов, он тоже был жертвой цензуры и политкорректности. Ещё её удивила фотография Содомова: девушка представляла себе хрупкого изнеженного метросексуала, а оказалось, что писатель гораздо больше напоминает солдата вермахта. Человек с таким лицом не может не симпатизировать эзотерическому гитлеризму, решила она.

И да, подонок сделал вид, что его привлекает фашистская эстетика, мартиал и немецкий фолк, а главное — сама Ангелина. В порыве пьяного отчаяния она написала: «Но у меня же круглая рожа и родинки на роже, как вам может это нравиться?!» — «По-моему, родинки на роже прекрасны», — ответил он. К счастью, расстояние в пятьсот километров спасло Гелю от множества глупостей. Но одну глупость она всё же совершила — позволила Алексею Содомову опубликовать подборку рассказов о Гитлере в майском номере сетевого литжурнала.

«Адольфу повезло, ему ещё в школе попался хороший учитель рисования, Леопольд Петч. Иначе сам бы Адольф не

смог бы взять под контроль свой талант — да что там — гений, даже больше, чем гений, — совершенную способность к рисованию.

...Картина Гитлера привлекала к себе взгляд издали, из любого места зала. Казалось, сам музей от неё трясся. И люди, равнодушно проходившие мимо непонятной и странной мазни, останавливаясь рядом с этим полотном, невольно замедляли шаг и думали, что человека как вид можно уважать, ибо, возникший из говна и грязи, он способен пленить сияние с помощью холста, кисти и масляных красок».

«Экстремизм налицо», — думал сотрудник «Центра Э».

Если бы Ангелина была не так занята и меньше уставала на работе — иной раз по возвращении из лаборатории она засыпала прямо в кресле, — то, может быть, навела бы о редакторе подробные справки и выяснила, что когда-то он был участником анархо-панковских групп, а ведь бывших анархистов не бывает. А каждый анархист в сердце своём непременно антифашист. И даже если ты не гуманный пацифист или гринписовец, а высокомерный анархо-индивидуалист, всё равно не сможешь в здравом уме выйти на площадь с табличкой «Бей жидов» или обидеть трудолюбивого таджикского дворника.

Алексей Содомов давно уже не ходил на митинги и демонстрации. По некоторым данным, теперь он получал за свою антифашистскую деятельность немалые деньги от «Центра Э». Ещё бы: борьба против правых была в самом разгаре. Малолетние блоггеры, философы-белотрадиционалисты, поэты-патриоты с графоманских сайтов, имеющие глупость подписываться настоящей фамилией, десятками отправлялись на Лубянку.

Утром десятого мая в комнату Ангелины Мессер постучалась милиция.

— Компьютер мы заберём на экспертизу, — сообщил бесстрастный лейтенант. Геля с грустью отметила, что он похож на Тилля Линдеманны.

— А у меня в компе нет ничего.

— Зато есть кэш яндекса, — улыбнулся пособник ZOG'a. Ноутбук менты всё же унесли и долго не возвращали. Гелю отпустили, пообещав закрыть дело после уплаты штрафа в энное количество минимальных зарплат.

Жидоупыри, шептала Геля сквозь слёзы, возвращаясь из мусорской. Подонки. Иуды. Очень стыдно было перед дядей по отцовской линии, который обязан был погасить её, с позволения сказать, «долг» перед жестоким и несправедливым государством. Дядя жил в Кёльне, состоял в партии зелёных и ничего не имел против евреев.

Двадцать восемь лет жизни прошли в ожидании.

Эта страна, эта планета и эта жизнь — говно.

Краснолыков был создателем жанра христианских танкеток. (Если вы забыли, что такое танкетки, дорогие читатели, откройте словарь юного литературоведа за 2035 год.) Делается жанр очень просто: берёшь известный сборник древне-еврейских сказок и подыскиваешь подходящие друг другу по смыслу слова и выражения. Таковые найдутся буквально на любой странице.

находи  
умножай

вся толпа

на земле

И так далее, главное, чтобы получался многозначительный шестисложник.

Изредка Владислав отвлекался от библейской тематики и писал о своих любимых врагах — других литераторах:

мелочи  
литпроцесс

не сомов —  
содомов

флюгерштейн  
убан

(Последнее, разумеется, сохранилось только в черновиках.)

Политическая тематика также нашла отражение в творчестве первооткрывателя. Пообщавшись с местными оппозиционерами, он создал очередное краткое, как жизнь террориста, произведение:

троцким  
заебали

Надо сказать, поэт несколько сузил эстетические и политические горизонты городских партизан. На одном Троцком для них свет клином не сошёлся.

Вот как всё было на самом деле.

В середине нулевых в южнороссийском городе N возникло революционно-авангардистское объединение (в миру — секта Праведный Гнев), в которое входили художники, литераторы, философ-консерватор и химик-перформансист. Однажды эта компания была застигнута ментами за распишем алкогольных напитков под сводами заброшенной церкви на окраине города. Революционеров обвинили в сатанизме, разрушении храма и написании на стенах его всякой хуйни, хотя, спрашивается, какой смысл людям, которых зовут Андрей и Сергей, писать на стене церкви: «Здесь был Вася»?

Деятельность «секты» была приостановлена, сайт закрыт. В отчаянии один из руководителей разослал письма художникам-анархистам всяя Руси:

«Братья и сёстры! Вы заебали устраивать везде наши «филиалы» и проводить ещё более ебанутые акции, чтобы нас переплунуть. Если вы используете название Праведный Гнев, это значит, что легавые могут возложить на меня ответственность за ваш вандализм. Вы этого добиваетесь? Нахуй! Филиалы в других городах нам не нужны. Организуйте свои собрания, свои секты и толки».

Но было уже поздно. Пришлось заключать с руководителями братских арт-группировок официальный договор о невмешательстве в дела друг друга.

В городе В. тоже была своя секта Праведный Гнев, и она достала обывателей похуже Белого Братства. Художники жгли костры за гаражами, рисовали непотребные граффити,

воровали продукты в супермаркете и заменяли фирменные наклейки на яблоках на картинки с черепом и костями. Устраивали акции типа «Презервативы вместо бомб», шатались по городу в готичных шмотках и приставали к прохожим с провокационными вопросами. Фонарные столбы были облеплены листовками: «Хочешь заработать? Продай телевизор! Люди в чёрном ящике жрут твои деньги и мозги». Отморозки помладше захватили расселённый аварийный дом на окраине, двухэтажное кирпичное здание с выбитыми стёклами, врезали замок и стали там хулиганить.

Дошло до того, что на клумбе возле мэрии дворник обнаружил настоящие череп и кости. Кажется, в секте числился двоюродный брат полковника милиции, иначе «филиал» в полном составе давно отправился бы на зону.

Краснолыков был так занят препирательствами с женой, злущей граммар-наци и любительницей поэзии первой трети девятнадцатого века, что почти не обращал внимания на местный авангард. Или, что маловероятно, просто недооценивал молодёжь, считая себя первым и главным ниспровергателем канона. Вскоре бог наказал его за гордыню. В полнолуние поэт возвращался домой из пивнушки, заблудился и вышел прямо к двухэтажному кирпичному дому.

Поэт огляделся, пытаюсь сообразить, где находится. От умственных усилий ему стало совсем плохо, и он вцепился в оконную решётку, чтобы не упасть. Да, анархисты до такой степени обнаглели, что установили решётки на окнах первого этажа.

Внутри зажёгся тусклый свет. Краснолыкову показалось, что перед глазами его замелькали смеющиеся летучие мыши, и он, бормоча ругательства, сполз на землю. Последнее, что ему примерещилось, — крылатый хорёк, о котором внутренний голос шептал ему: «Сатана! Сатана! Сатана!»

— Да непесди, — сказал какой-то парень. — Это не бомж, я всех местных бомжей знаю и люблю. Всё гораздо хуже: это поэт.

— А, этот, — сказала какая-то девица. — Значит, наверняка нашу страничку в интернете видел, он же вроде прогрессивный, пускай живёт.

— Православный, — мрачно отозвался другой парень.

— Ладно, пускай тогда лежит.

— А вдруг у него инсульт? Он же старый уже.

— Ничего не старый, — с трудом проговорил Краснолыков.  
— Мне всего сорок один.

Анархисты ещё немного посоветовались и решили забрать его к себе до утра.

В четыре часа утра поэт проснулся и понял, что он в аду. Это была комната, украшенная транспарантами: «Хватай что ни попадя, сооружай немедленно!» и «Друзья детей и коз не дремлют!» На полу валялись матрасы, покрытые чёрными простынями (один художник тут же пояснил, что их пожертвовала сочувствующая революционным идеям проститутка), ноутбук и распечатка книги Троцкого «Иосиф Сталин. Опыт характеристики».

В ванной висело вместо нормального боковое автозеркало, а над ним — закрывающий побитую плитку портрет ЛаВея с декоративными рогами. Краснолыкову стало совсем плохо. Когда он вернулся, молодёжь ещё не спала. Ничего, подумал он, обычная, вполне интеллигентная молодёжь, трое парней и девушка в драных джинсах. Они пили зелёный чай и рассуждали о contemporary art.

— По-моему, «Актеон» — хуета, — говорил длинноволосый парень.



— Не нравится — напиши лучше или читай «Наш соплеменник», — возражал коротко стриженный блондин. — Там уж точно не хуета. Пейте чай, — обернулся он к поэту.

У чая был странный вкус, напоминающий смесь табака и полыни. Краснолыков обречённо произнёс:

— Однако же, картинки там у вас... Ну, ладно.

Сквоттеры засмеялись.

— Конечно, — сказал блондин, — кто не читает «Соплеменник», тот непременно сатанист и против русской идеи.

— А разве анархизм не подразумевает отказ от русской идеи? — спросил поэт и сразу почувствовал себя эрудированным, разбирающимся в политике и даже почти трезвым.

— Праведный Гнев объединяет крайне левых и крайне правых, — гордо ответила девушка. — Главное — это трансгрессия. Воля к власти и воля к свободе в один прекрасный момент соединяются, как две пересекающиеся прямые, и происходит прорыв.

— Проще говоря, — сказал длинноволосый парень, — иногда для выхода из сложной ситуации нужна консервативно-революционная идея, а для другой ситуации подходит левая идея, и так далее. Мы работаем на благо детей, животных и аутентичной культуры.

Краснолыков осмотрелся и увидел на подоконнике обложку компакт-диска, разрисованную свастичными узорами.

— Это группа «Dachau Swing», — пояснил длинноволосый. — Они евреи.

— Нет, не могу понять, — ответил Краснолыков. — Не могу постичь. Не укладывается в моей голове. Я православный человек, и в моём сознании Христос отсекает от любого понятия лишние куски, словно скульптор — от мраморной глыбы. Ситуационизм похож на беготню за уходящим трамваем, христианские ценности вечны.

— Вы, наверно, одних православных поэтов читаете, — насмешливо сказала девушка.

— Вы так говорите, будто православие — синоним отсталости и культурной провинции, но это не так. Я вам сейчас перечислю немало имён, можете по яндексу проверить. Все эти люди объединяют...

— Кто, поп Кравцов, что ли, объединяет? — спросил длинноволосый. — Ну-ну.

— Я не вижу примеров более успешного синтеза современности и традиции, — сказал Краснолыков. От чая у него закружилась голова. Показалось, что на дне кружки — морские водоросли, и в них кто-то копошится. Мерзкие насекомые, названия для которых не подобрать, — морские вши?

— А я вижу и могу прямо сейчас показать, — ответил парень. — Например, стихотворение автора под псевдонимом Упырь Лихой, апеллирующее к древней русской культуре и духовности.

Он открыл ноутбук и прочёл нечто уму непостижимое.

Ты поя ю въ тѣме яко тать яко бѣсъ  
Ты поя ю въ тиши бѣше пиль яко звѣрь  
Умыкнулъ ю еси на Непре ты а в лѣсъ  
Уволокъ ю еси зарази ся теперь

<...>

Дѣва бѣше рекла ты еби мене въ прахъ  
А забуди же ютроу забуди на вѣкъ  
Ты прелюбы творяше мене же писахъ  
А рѣкоховѣ въсѣмъ ибо слабъ чѣловѣкъ...

— Мне всё ясно, — решительно произнёс Краснолыков. — Автор хуй кладёт на русскую традицию. Это циничное глумление, постмодерн и едва ли не сатанизм.

Сквоттеры заулыбались; в этих улыбках было что-то нехорошее. Третий молодой человек, который до этого момента спал в углу на матрасе, предложил проводить поэта до остановки. Длинноволосый парень сунул Краснолыкову бутерброд в целлофановом пакете.

— Сам дойду, спасибо, — сказал православный поэт. Было уже совсем светло, и он различил на обоях полустёртые пентаграммы.

Хавку он скормил пасущемуся на остановке бродячему псу. Есть очень хотелось, но кто их знает, анархистов, с чем у них бутерброды. А если собака отравится и подохнет, тем лучше. Истинно православный человек не должен любить собак, тем более бродячих: это нечистые животные, опасные для пьяниц, детей и коз.

К вечеру Краснолыков окончательно пришёл в себя, открыл сайт Праведного Гнева и написал заметку об анархосатанинских тенденциях в современной поэзии. Через две недели её напечатали в сетевом журнале. Ещё через два дня в подъезде поэта появилось граффити: ебущиеся летучие мыши.

С «обычными» людьми Геля контактировала редко: они казались ей дегенератами. Но сегодня ей пришлось пойти на почту, чтобы получить электронный перевод.

Очередь из придурков казалась бесконечной. Геля была бы рада не слышать разговоры о подорожании сахара, запойных соседях и мыльных сериалах, но, как назло, в её плейере села батарейка. Пришлось терпеть. Малолетняя овца с наушниками от мобильного трещала, как масло на сковородке: «О-ой, да ты чо? А он чо? А ты? Ой, ну да, он тако-о-ой!» Толстая тётка с проплешиной на макушке орала: «Сынок, сынок, купи пельмешек, сосисечек и что-нибудь к чаю! К чаю обязательно!» Рядом с Гелей стоял уродливый

грязный мужик в нестиранном свитере — наверно, грузчик или сантехник, — и с интересом пялился на неё.

Внезапно мужика осенило:

— Вы только посмотрите! Она же фашистка.

Что на Геле было надето? Гриндерсы, джинсы-галифе, чёрная рубашка, короткая чёрная куртка и чёрный рюкзак за спиной.

— Вас мама в детстве не учила, что нехорошо приставать к посторонним людям в общественном месте? — вежливо спросила девушка.

Пару минут унтерменш помолчал, но потом снова завопил:

— А вы по телевизору не видели, что так одеваются фашисты? Вам не стыдно по городу в таком виде ходить?

— У меня нет телевизора, — ответила Геля.

Люди дружно уставились на неё.

— Нет телевизора, — пробормотала толстая баба. — Это как же? Современная женщина должна смотреть телевизор, чтобы всё знать.

— Во выёбывается... - процедил сквозь зубы жирный лысый дядька в синтепоновой куртке, с пакетом дешёвых сосисок в руке.

— Сумасшедшая! — добавила бабка в ярко-жёлтом пальто фасона «прощайте, пятидесятые». На груди у неё был приколот букетик бессмертников. В помещении не было кондиционера, и Геля поняла, что сейчас задохнётся.

— Вы что, тут решили организовать коллективную травлю? — раздался рядом мужской голос. Геля обернулась. Это был высокий парень в чёрном, похожий на сатаниста. — В Уголовном кодексе есть статья «Клевета». Подозревать человека в фашизме на основании внешнего вида — значит клеветать на него. Не задерживайте очередь. Или вам милицию вызвать?

— Молодой человек, вас тут не стояло! — заголосила бабка.

— Я занимал за этой девушкой, — нагло ответил парень. — А ты, бабка, почему носишь бессмертники? Разве ты сатанистка?

— Что-о?!

— По телевизору показывали сатанистов, которые считают эти цветы своим символом. Не видела передачу? Что ты вообще в своей жизни видела?

Геле не понравилось, что этот наёбщик воспользовался ситуацией и пролез вне очереди, но, с другой стороны, унтерменши получили хороший урок и заткнулись. Только обалдевшая бабка продолжала бормотать какую-то невнятицу.

— Я тоже люблю Rammstein, — сказал молодой человек, которого звали Сергеем, когда они пришли в «Билингву» отдохнуть от дегенератов. — А ещё Triarii, Nachtreich и немного анархистский блэк-метал. Вообще, рекомендую продукцию Spermodeath Records. Там много интересных индастриэл- и нойз-команд.

— Я нойз не понимаю, — смущённо ответила Геля. — Только немецкую музыку, мелодичную и при этом тяжёлую. Фольклор ещё немного.

— Это правильно. Наше контркультурное объединение Праведный Гнев уважает немецкую традицию.

Геля ничего не знала о Праведном Гневе. Если бы ты занимался анализом экспрессии в отдельных клетках, определением и селекцией колоний и тому подобным, тебе тоже было бы не до новейших веяний в контркультуре, дорогой читатель.

Всякая мистическая муть её не интересовала, зато перформансы, которые устраивали сектанты-анархисты, показа-

лись забавными. Например, коллективное сожжение на Площади Революции джинсов, изрисованных мордами медведей.

— События, происходящие сейчас в мире, отлично иллюстрируют, что такое влияние аркана Башня, — продолжал Сергей. — В 2011 году должны наступить очень важные события, выражаясь архаичным языком — предвестие апокалипсиса. И мы стараемся приблизить его, открывая людям абсурдность происходящего. Денщики слепого демиурга спрятались в своём жёлтом доме — другого прибежища у них больше нет. Если вы находитесь в поиске, задавайте мне вопросы, но учтите: ничто из сказанного мной вам не поможет!

Ещё один псих, подумала Геля, а вслух произнесла:

— Вы меня не так поняли. Я не только не нахожусь в поиске — я непрестанно отпускаю найденное. Наступает Der Grosse Mittag, нам нечего больше искать. То, что было десакрализировано, — к примеру, фашизм, — скоро опять вступит в силу. Если вы читали мои рассказы в интернете (мой ник gelya\_messer), то понимаете, к чему я давно готовилась и что выпускаю в мир.

Молодой человек сказал, что читал, и даже назвал её старый ник на тифаретнике. Геля действительно презирала читателей, но такое внимание не могло её не тронуть. К тому же, тифаретник обычно читают неглупые, разносторонне образованные люди с богатым внутренним миром, истинные гностики и манихейцы.

Вскоре Сергей стал приходить к ней в общежитие, а когда приходить было нельзя (с часу ночи до шести утра), писал письма, например:

«Геля! Тебя уже двое суток нет в сети и нигде. Случилось что-нибудь? Если тебя кто-нибудь обидел, дай мне его адрес, я найшу на него проклятие праведника».

Геля в тот день очень устала на работе. С одной стороны, не хотелось вспоминать об истории с Содомовым и кому-то о ней рассказывать, а с другой — настроение было жутко хуёвое, и очень хотелось сделать кому-нибудь гадость.

«насколько я поняла, — быстро написала она, —

у вас есть филиалы в разных городах

а вот есть ли секта в городе В., там живёт один пидарас, который настучал на меня в ФСБ

надо с ним что-нибудь сделать типа перформанса, акции какой-нибудь — например, дёгтем вымазать его дверь

заодно вы прославитесь, он же какой-то редактор и по совместительству работает в бумажной газете

я его набирала в гугле там инфа что он на единую россию работал, с таким точно надо сделать что-нибудь чтобы приблизился апокалипсис

а вот ссылка и его рожа

я ему никогда не прощу что он проедал мне мозг»

Сергей ответил:

«Ритуально принести его в жертву — сойдёт?»

Владислав Краснолыков проснулся с похмелья и попытался вспомнить, где его бумажник. Но голова так болела, что он перестал вспоминать и начал молиться господу. Господь не помогал.

Поэт так и не понял, стоит ли обращаться в милицию. Может быть, ему просто показалось, что Содомов украл деньги? Может, он сам посеял бумажник по дороге домой или на работу? Может, и не было никакого бумажника, никакого Содомова, и всё это — козни лукавого? Так или иначе, Алексей пожалеет — обо всём пожалеет, что бы ни совершил!

Краснолыков кое-как привёл себя в порядок и полез в интернет. У него были серьёзные проблемы: уже несколько

месяцев «доброжелатели» веселились в его гостевой на сайте литературного журнала. Одним из сотрудников журнала, как назло, был Содомов, и Владиславу казалось, что это с его лёгкой руки гостевая православного писателя превращается в подобие факрунета, но стучать главному редактору было бесполезно — сволочи пользовались анонимайзером.

На этот раз идиоты поглумились над циклом стихотворений «Имя твоё». В одном стишке рассказывалось, что человек на самом деле имя прилагательное, поскольку прилагается к богу. Ещё там было экспериментальное произведение, начинающееся со строк:

Когда, наконец,  
сперма поэзии прорвёт  
кондом пропаганды и устремится  
вперёд по фаллопиевым трубам Родины?

Анонимы написали в гостевой отвратительную пародию, причём без единого матерного слова, чтобы модератор не удалил. Владислав читал эту ахинею, тихо приговаривая:

— Ёбаные, ёбаные бляди. Как же мне с вами жить, что же вы, уёбки, делаете? Вы же в аду сгорите за прегрешения перед Словом, ёбаные, ёбаные бляди.

Тут ему пришло личное сообщение от некой Ангелины Мессер, которая тоже печаталась в этом журнале. По её словам, Содомов спровоцировал её на сочинение провокационных текстов, а потом их опубликовал. Редактор знал, что добродушная и доверчивая поэтесса из принципа не воспользуется псевдонимом, и сам факт публикации поставит под удар всю её семью. Ангелину поставили на учёт в ФСБ, но теперь она раскаялась, хочет перейти из лютеранства в православие и больше никогда не писать про Гитлера.



«Скажите, пожалуйста, Владислав (извините, не помню вашего отчества), вот вы живёте с этим человеком в одном городе и, наверно, знаете, сколько от него пострадало народа. Я хочу предупредить ни в чём не повинных авторов, чтобы они с ним не связывались».

На аватаре была симпатичная зеленоглазая шатенка. Краснолюкову сразу захотелось вернуть эту несчастную девушку в православие. На душе у него стало светло, канонично, радостно. Он даже написал новую танкетку и выложил в гостевой:

### Родина

голуби  
тишина

«Доброжелатели» мгновенно откликнулись:

### Патриотическое<sup>3</sup>

Я сегодня не встану утречком,  
Не взойду на крыльцо взъерошенный.  
Не скормлю голубям я бубличка —  
Пусть не срут на меня — хорошего!

Преисполнюсь печальной тайности,  
Округлю свои щеки синие.  
Ведь у каждого — свои слабости,  
Но один геморрой — Россия!

Мне жидовки прекрасные пели  
О бескрайних степях Ханаана.  
Только ближе мне — волки и ели,

<sup>3</sup> Стихотворение Андреа Часовски.

И Царь-Пётр встает из тумана.  
Не вздохну я свободно грудью,  
Тяжел камень висит на верёвочке.  
Спать ложусь — все мысли о Путине,  
Стих пишу — всё о нём, о Вовочке.

Отбирая лапти с лукошками,  
Грядёт НАТО глобальной уродиной.  
Не вскормлю я голубя крошками,  
Все оставляю тебе, моя Родина!

(с)

— Ты опять ерундой страдаешь? — зашипела жена. — Тебе экскурсию проводить, ты опоздаешь сейчас. Иди, иди уже на работу и не трогай, слышишь, *не трогай* клавиатуру и мышь.

Тоталитарной секте Праведный Гнев последнее время приходилось довольно-таки херово. Менты вывезли людей из сквота, врезали новые замки и опечатали двери. В местной газете появилась разоблачительная статья местного попа, призывающего к борьбе против анархизма и сатаны. Рабочие, матерясь, закрашивали неприличные граффити в подъездах. Лидеры группировки выждали несколько дней и решили продолжить протестную деятельность. Эта акция должна была прославить их (точнее, не их, а Идею) или стать последней.

Когда Геля вышла из поезда, перрон был пустым, только дворничиха в оранжевом подметала платформу. Здание вокзала — в строительных лесах, двери, кроме одной, заколочены — такое чувство, будто ходишь среди стен разрушенного города. Дул северный ветер.

Она докуривала уже третью сигарету, когда появился Краснолыков. Он был похож на попа-расстригу в своём старом, издали напоминающем рясу, чёрном пальто.

— Хорошо-то как сегодня, — приветствовал он. — Радостно!

— Да, да, — рассеянно кивнула Ангелина. Как только она увидела православного танкеточника, ей захотелось съездать домой, выпить пива и лечь спать, но было уже поздно.

— Люди должны придти в пять утра, а сейчас только три. Давайте, пока всё не началось, сходим в церковь, она недалеко, и там очень красиво. Недавно туда с женой сходили, к нам присоединились ещё несколько прихожан, и чудо стало полнее, глубже. Радостнее.

Меньше всего Геле хотелось идти в эту вульгарную аляповатую церковь, но она ничего не сказала.

— Понимаете, — исповедовался по дороге Краснолыков, — мы ведь с ним какое-то время дружили, пили вместе. Даже в церковь ходили, а потом он вспомнил, что он панк, и всё пошло по пизде. Извините, пожалуйста.

Церковь была заперта, но у Краснолыкова, который раньше подрабатывал чтецом и алтарником, сохранился дубликат ключа. Внутри был такой же дешёвый кич, как и снаружи, особенно доставляли иконы, нарисованные каким-то халтурщиком.

— Ага, очень мило, — сказала Геля, ведь надо же было что-то говорить.

— Ангелина, — произнёс поэт, приторно улыбаясь, — вам не кажется, что храм — наилучшее место для уединения мужчины и женщины? Я знаю, что сие считается ересью, но ведь потом можно покаяться перед господом в сердце своём.

Геля пожалела, что вообще связалась с Краснолыковым. Что написала ему однажды:

«Я всегда мечтала встречаться с православным человеком, любящим природу, животных».

Всё это ради того, чтобы он выдал ребятам из организации адрес Содомова и помог довести его до моста. Она собиралась принять непосредственное участие в экзекуции, а теперь неизвестно, чем закончится эта хуйня.

«Уже утро, блять, — подумал Содомов. — Птицы, сцуки, поют под окнами, как подорванные».

С тех пор, как его заставили подписать заявление о добровольном уходе из местной газетки — православный главред не хотел работать с человеком, чьи дневники постоянно замораживают за детскую порнографию, — ему никуда не надо было спешить. Хочешь — спать ложись, хочешь — пей, хочешь — дочитывай рукописи графоманов: главный редактор сетевого журнала за детскую порнографию не увольнял.

Среди присланных текстов была и подборка за подписью Краснолыкова. Потрясающая наглость. Алексей понял, что надо лечь спать, но тут в дверь позвонили.

— Привет, подставной активист, — сказал уже знакомый читателю длинноволосый парень.

— Привет, фашик, — ответил редактор.

Алексей уже два года снабжал его отменной детской порнографией. Участники секты Праведный Гнев Содомова знали и любили, хотя и не все.

— Содомов, — сказал длинноволосый парень, — я не фашист, просто меня тошнит от АФА. Зачем ты сотрудничаешь с ними — неужели только ради бабла?

Алексей допил кофе, помолчал.

— Понимаешь, — сказал он, — я ненавижу фашизм. Женщина, заплатившая мои долги за квартиру и ноутбук, была еврейкой. Один из немногих моих вменяемых начальников был евреем. И, наконец, мне очень нравится один четырнадцатилетний еврейский мальчик, но это только мечты. Фашисты оскорбляют мои чувства к этим людям, как бы глупо и банально это ни звучало. Я пытался с ними бороться

и теперь вынужден распускать слухи о моём сотрудничестве с Единой Россией, чтобы скины не ворвались ко мне домой. А что касается Ангелины — этой публикацией я как бы убил двух сфинксов: во-первых, напечатал текст талантливого автора; во-вторых, это была часть моей борьбы с фашизмом. Так получилось, что эти нити слишком тесно переплелись, а нож, который мог бы их разрубить, я, кажется, проебал ещё в прошлой жизни.

— Я так понял, что ты бухаешь ещё с прошлой недели, товарищ редактор, — сказал длинноволосый парень.

— Да, — устало согласился Алексей, — бухает товарищ редактор. Как сцуко.

Парень набрал номер Гели, та не отвечала.

— Пиздец... Народ в переулке ждёт, а она в церкви. А когда Краскоедова набираешь — он в той же церкви. Надо что-то делать.

Легавые и чиновники часто выдают своим родственникам мобильные со специальными ментовскими настройками. Когда вы звоните менту, на его дисплее отражается серия и номер вашего телефона. А если мент позвонит вам, на его дисплее отразится ваше местонахождение.

— У меня такое впечатление, — отозвался Алексей, — что ты всё это время общался со мной, чтобы я выдал вам этого мудака Краснолыкова и помог его *довести*. Но, в конце концов, я должен принять участие в экзекуции, тем более — в издевательствах над мудаком, который стучит на сквоттеров ментам. Я сто лет не принимал участие в экзекуциях, и мне уже наплевать, чем закончится эта хуйня.

В половине четвёртого утра в храм Успения Божьей Матери зашли пятеро человек. У двоих лица были наполовину закрыты шарфами, у троих на головах — чёрные чулки с прорезями для глаз. Пасущаяся возле церкви полоумная

бабка решила, что опять бандиты пришли каяться, и спокойно попиздовала дальше.

Пятеро человек увидели валяющегося на полу поэта-авангардиста, который не знал, что у Гели с собой электрошокер. Поэту связали руки, заткнули рот и велели вести себя тихо.

— Сначала с этим долбоёбом разберёмся, а потом — со вторым, — дружелюбно пояснил один из анархистов. Геле ничего не оставалось, кроме как молча последовать за ними.

Краснолыкова заставили подняться на железнодорожный мост и привязали к перилам прочными верёвками. На грудь ему повесили табличку со словами: «Вниз — это туда» и стрелкой, указывающей на полузамёрзшую реку под мостом. Поэт не видел, что к верхнему пролёту прикреплён транспарант:

### **«ВОЙНА. ЛЕНЬ. НОЯБРЬ»**

Для милиции, явившейся тремя часами позже, осталось тайной, каким образом злоумышленники его туда приспособили. В райцентрах менты всегда приходят поздно, и для них всё остаётся тайной — или как бы остаётся.

Было паскудно, страшно и холодно. Снежинки мельтешили перед глазами, будто крылатые белые вши.

«Ёбанные, ёбанные бляди, — думал Краснолыков, мелко дрожа. — Как же мне с вами жить, что же вы, уёбки, делаете? Вы же в аду сгорите за прегрешения перед Словом, ёбанные, ёбанные бляди».

Ключ от церкви подобрал кто-то из нападавших и выкинул на помойку. Чуть позже в храм заглянули воры и украли два подсвечника.

Праведногневцы привели Гелю в полуободранную квартиру на пятом этаже. Было уже совсем светло, и она различила

на обоях в прихожей полустёртые пентаграммы. В гостиной на полу валялись ноутбук и распечатка книги Троя Саутгейта «Julius Evola: A Radical Traditionalist».

— Сергей, который типа предлагал принести редактора в жертву, — сказал один из анархистов, стаскивая платок, закрывавший лицо, — тот самый графоман, о котором я вам в прошлом году писал, что не буду его публиковать даже за деньги. У него там была куча опечаток: «горловое пенисе» вместо «пение» и всё такое прочее. Что вы так на меня смотрите, Ангелина, — я не похож на свою фотографию, да?

*По материалам GIF.Ru:*

*«8 ноября, около пяти часов утра на железнодорожном мосту города В. был обнаружен белый транспарант, на котором чёрными буквами было написано: «ВОЙНА. ЛЕНЬ. НОЯБРЬ». Пока ни одна религиозная или политическая организация не взяла на себя ответственность за эту акцию. По одной из версий, это была самопрезентация местного поэта Владислава Краснолыкова, который попросил знакомых привязать себя к перилам моста под транспарантом. Акционист в полубессознательном состоянии доставлен в психиатрическую больницу».*

2010.

## ДЕТИ ВРАГОВ МОРАЛИ

*[Все совпадения с реальными людьми и событиями просьба считать случайными.]*

Какое счастье, Камилла, знать, что ты не доживёшь до старости: в ста метрах от таможни тебя собьёт грузовик с глянцево-синей надписью вроде «Einstürzende Neubauten». Я слишком не люблю врать, поэтому уточняю: это могла быть совсем другая девочка, малолетняя проститутка — из тех, что вернулись в Россию из Европы по выдуманной чиновниками программе переселения. Бывшим русским эмигрантам обещают бесплатное жильё, работу и шестьдесят тысяч рублей («подъёмных», как это называется на канцелярите); обламывается им, в лучшем случае, двадцать, на работу вместо них берут хачей, их дети воруют и идут на панель, всё как обычно в этой стране.

(Это неправда, нет никаких панелей уже давно, они идут в подъезды, на чердаки, на обочину А-216.) Камилла, будь ты на месте дочери переселенца, это была бы самая чудесная смерть для тебя. Ты бы никогда не превратилась в обрюзгшую усатую продавщицу или вульгарную проститучью мамку — а какую ещё карьеру может сделать в этой стране дочь переселенца? — ты не испортила бы свои густые чёрные



волосы этой ублюдочной краской из супермаркета. Смерть малолетней проститутки — это красиво и романтично, только русские разучились об этом писать, разве что всякие глупости. Всё, что тебе обломится, — нескладные дворовые песни на фанерной гитаре в заплёванном шелухой от семечек дворе, ярко-зелёный венок с аляповатыми цветочками, косо присобаченный к дереву или указателю — ни памятной таблицы, ни объявления в газете. Зато тебя продадут на органы, и твои родители получают за это деньги. А может быть, и не получают, может быть, даже об этом не узнают. Зачем же чиновникам и врачам окончательно расстраивать родителей?

Ты не станешь даже такой, как я, — стройной девушкой неопределённого возраста и национальности, в драных джинсах и с вязаной сумкой, в которой, как обычно, — газовый баллончик, травмат и диктофон.

Вчера этот проклятый дождь наконец-то перестал идти, но дорогу за ночь размыло, и ни одна сволочь не ехала по ней: ни на своей, ни на казённой машине, ни на запад, ни на восток, ни по делам, ни ради собственного удовольствия; никто никуда ничего не вёз — ни труп в багажнике, ни детей за город, и никакого города с этого участка дороги не было видно, — это называется *«безмазовая трасса»*. Потом меня всё-таки посадил водитель «КамАЗа», который ехал из С. в Беларусь. Через полчаса он столкнулся с грузовиком, который сбил девочку-подростка восточной внешности. От удара дверца «КамАЗа» распахнулась и повисла на одной петле. Меня тоже удивляет моё спокойствие. Всех удивляет.

У таких как ты, Камилла, всегда развито чувство границы, а вот я с трудом понимаю, что это. «Не умею высказать этого необъятного чувства, но оно просыпается во мне каждый

раз, когда я топлюсь в небе», — писал в девятнадцатом веке Бестужев-Марлинский (лучше бы он и правда утопился и ничего не писал). Но помню, что раньше ощущение границы начиналось там, где крики продавцов контрабанды плавно переходили в тихий советский идиотизм — т. е. особый вид идиотизма с неповторимо-таможенным оттенком, который устал от самого себя и, полусонно и нагло ухмыляясь, смотрит на дело рук своих — выпотрошенную в процессе шмона чужую сумку.

Мой водитель вполголоса матерился, из рации слышался треск и польская ругань; машины стояли ровным рядом, одна за другой, и эта очередь заканчивалась за горизонтом. Знакомые друг с другом дальнбойщики перекрикивались, высунувшись из окон, не знакомые никому смотрели по сторонам, положив локти на руль. В боковом зеркале отражались твоя синяя куртка и тёмно-красное пятно, расплывающееся под твоей головой. Наверное, в очереди найдётся богатенький сынок на легковушке, который снимет это на мобильник и зальёт на ютьюб — нет, скорее всего, на мыло-рушечку, это прибежище агрессивных дебилов. Нужно делиться своими наблюдениями с народом. Не каждый день мы можем позволить себе подобные дорожно-транспортные развлечения. В объективе камеры — сотни мельчайших осколков в миллиметре от твоей головы.

Впрочем, какая разница: скоро табачный магнат всяя Руси проплатит высоконравственную пропаганду, закроют ночной клуб, в котором работает твоя родственница (мусульманка, носящая золотой кулон в виде полумесяца и живущая в гражданском браке с тихой литовской девушкой), и все вы, дети врагов морали, будете воровать или займётесь проституцией. Как выяснилось, у нас с твоей матерью некоторое

время была общая любовница, совсем простая симпатичная блондинка, дочь медсестры из психбольницы. Год назад, помню, она, выпив полбутылки «Мартини», долго распиналась на тему нравственности: что делают в клубе пьяные тринадцатилетние девочки? Как выяснилось, она имела в виду тебя. Она меня так достала, что мне стоило больших трудов избавиться от её общества.

Камилла, какая ты счастливая: ты так никогда и не узнаешь, что можно по-другому. У меня в твоём возрасте не было ночного клуба, только деревянный дом на окраине, и нужно было носить воду и колоть дрова. Мои одноклассницы давно превратились в толстых мешанок или спившихся безработных хабалок, а других женщин там не бывает, разве что моя мать. Я никогда не пыталась туда вернуться: там по-настоящему плохо, Камила, там даже героин негде купить, ты не представляешь, как тебе повезло, ты родилась в К. - это, наверно, единственный в России город, где в такси включают Ли Хэзлвуда.

Я выхожу в подъезд и осматриваюсь: мне надо уехать, чтобы не слышать это бесконечное «все богатые люди — хорошие и светлые, а революционеры несут сплошной негатив; давай в выходной сходим в церковь, тебе обязательно нужно туда сходить», а за пять минут до этого было что-то вроде «давай вместе трахнем эту сучку», — быстро же эти буржуи пластинку меняют; тебе лучше не знать, что это был за человек, он слишком известен, и меня от него уже тошнит, потому что очень богатые люди, за редким исключением, обладают на редкость дурным вкусом, почти не читают книг, слушают отвратительную музыку и вдобавок городят христианский бред. Меня примиряет с ними только то, что среди них немало сабов. Этого, например, возбуждает, когда его связывают.

Фонари старомодного образца тускло освещают переулок; возле парадной валяются шприцы с контролем, кровь вытекла и замёрзла, я окликаю дворничиху — здесь начинают убирать в два часа ночи, не знаю, почему.

— А... сейчас, — отзывается она, добродушная пожилая тётка в оранжевой униформе, которая смотрится на ней, как истинное одеяние просветлённых. — Сами понимаете — колются.

Ты не станешь даже наркоманкой, Камилла, ты не станешь никем, какая ты счастливая — вот я всегда мечтала быть никем, но у меня не получилось.

Не хочется ехать домой, потому что нормально работать я могу только на трезвую голову, потому что знаю: в ящике очередное письмо от психопата, страдающего мистическим большевизмом головного мозга и наивно полагающего, что ему виднее, о чём я должна писать. Я прошу таксиста остановиться возле бывших казарм, архитектурного памятника, охраняемого государством. Внутри холодно, пахнет травой, какие-то манерные мальчики вроде парикмахеров привязываются ко мне, чтобы посплетничать про общих знакомых. Не знаю, с чего они взяли, что у нас есть общие знакомые: меня постоянно с кем-то путают, как будто у меня сорок тысяч двойников. Я устала. Чтоб вы сдохли все со своими деньгами, со своими идеями, которые хотите мне навязать, хотя у меня достаточно своих, со своей псевдосубкультурой. Я хочу уехать из этой страны, завести себе четырнадцатилетнюю девочку и учить её писать стихи.

Невозможно понять, сколько ей лет на самом деле. Она невысокая, худенькая, у неё янтарно-смуглая кожа. На ней чёрная майка, на которой не нарисованы ни черепа, ни кости, ни сатана, ни солист маргинальной рок-группы.

Ничего. У неё взгляд, как у меня в юности — не тот, что на официальных фотографиях, а тот, что отражался в зеркале, я хорошо его помню — взгляд человека, вынужденного находиться в толпе помимо своей воли. Наверно, в детстве она была флегматиком — таких детей очень мало, но только с такими детьми я могу разговаривать: они умнее сверстников. Она улыбается и спрашивает, нет ли закурить, но я давно уже курю только сальвинорин и лотос. Предлагаю угостить, понимая, конечно, что нельзя травить подростков этой дрянью, но я бы лет в шестнадцать согласилась, если бы мне это предложили. Мы пробиваемся сквозь толпу к выходу.

нет, Камилла, ты не станешь моей тенью, тихой и страшной  
я люблю всё живое, кроме людей, а особенно не люблю детей, потому что личинка человека ещё более омерзительна, чем сам человек. они соотносятся примерно как колорадский жук и его личинка, с той разницей, что люди приносят не в пример больше вреда

но иногда мне нравятся маленькие девочки, выглядящие, как я в двенадцать-четырнадцать лет. это сейчас я выгляжу моложе своего возраста, а тогда выглядела старше. ещё и поэтому я ненавижу LesDom и все формы «любовной жестокости», ведь в каждой девочке, которая мне по-настоящему нравится, я вижу себя. я могу избивать и насиловать только тех, кто на меня не похож. да, я знаю, как это называется

даже если бы я знала, что твоя мать спит пьяная в служебном помещении, куда она в час ночи пришла пообщаться с охранницей, мне было бы всё равно. мне и сейчас всё равно, и то, что я вижу в боковом зеркале, — всего лишь повод рассказать, как мне осточертели законы этой страны. секс с подростком иногда почти не отличается от секса со взрослой

женщиной. разница только в манере поведения: неглупые девочки почти ничего не говорят. они так много нового о себе поняли за совсем короткий временной промежуток, что им ещё нечего об этом сказать. они понимают, что все их слова будут несовершенны, и стесняются несовершенных слов, это период, когда пустота как бы равняется полноте

зато всегда видно, чего подростки хотят: экономия слов оборачивается выразительностью жестов и взглядов. мне не нужно выслушивать назойливую чепуху о «бывших», о популярных книгах и фильмах, о существовании которых я предпочла бы никогда не догадываться, о соседях по лестничной клетке, до которых мне нет никакого дела. она только спрашивает, знаю ли я, что ей всего четырнадцать, и я говорю: нет, конечно; ну и что? полутемно и неудобно. стену украшает ксерокопия приказа:

*«Сексом в туалете не заниматься! Если всё же займётесь — бутылку администрации!»*

и, чуть ниже, красной пастой:

*«Простите нас за всё!!! Администрация».*

Совсем скоро я забуду, что здесь может быть неудобно, и музыка, доносящаяся из динамиков — обычная для этого заведения русско-радийная чушь, этот ди-джей поставит house только под угрозой увольнения, — изменится в моей голове на другую: I got sand in my mouth / And you got sun / in your eyes / Blind / And you wanted / to get there / But I couldn't / go faster / So I started to hit it / hit it / hit it. Так хорошо, будто мы с ней вместе обязательно кого-нибудь убьём, но ещё лучше будет, если мы больше никогда не встретимся.

Это очень спокойный город — даже для меня. Он растворяет людей, как серная кислота, но почти безболезненно, почти незаметно, и вот ты уже принадлежишь ему, Камилла,

а не аллаху с его овцепасами. Здесь все такие мирные — ничего плохого не делают... и хорошего тоже. Ты не застынешь после смерти в янтаре, это красивая ложь, ты станешь речной водой, к которой незачем подходить близко, водой, которую нельзя пить, а на дне будет мусор. Под мостом будет стоять металлическая будка с нарисованным углём знаком солнцеворота на двери, а вокруг — горы песка и битого кирпича.

Знаю, ты тоже хотела быть никем.

you're right

you're right

Сотни мельчайших осколков в миллиметре от твоей головы.

2009.

## ЯЩИЧКИ В ГОЛОВЕ

Однажды мне приснилась фраза: «В салате русской литературы всегда лежала жирная рожа вертухая». Мне было неловко рассказывать об этом вслух: где бы я ни жила, это было за пределом метафизического Садового кольца, а значит, в пространстве, густо населённом полуобразованцами — они смотрят в говорящие экраны, читают порталы со свободным размещением глупостей и слушают Высоцкого. Кто-нибудь из них обязательно закричал бы о масонских надзирателях и родине-на-коленях, а я больше не в силах это выдерживать.

Сквозь ящички на них как бы смотрят, им становится страшно. Бесполезно спрашивать: зачем вы смотрите эти ящички, там же вечно мельтешит что-то невыносимое? Они не могут ответить внятно. Может быть, это их личная тайная борьба с невыносимым, а вовсе не дурная привычка. (Литература тоже есть тайная борьба с невыносимым, а не дурная привычка.)



А другой ночью мне приснилась писательская жена. Это был необязательный фестиваль на Дальнем Востоке, одном из немногих мест этой страны, которое я избегаю посещать. Дальневосточье превратилось в суверенную республику, по краям дорог почему-то рос лиловый папоротник, а в гостинице, где поселили нашу группу, было очень сыро, и от потолка отклеивались серые обои. К полуночи потолок отклеился насовсем: он оказался из фанеры не толще листового слоя берёзовой коры. Подняв глаза, можно было увидеть следующий этаж — пустое, без окон, помещение. Людей начали развозить по квартирам литературных добровольцев; это напоминало эвакуацию. Мне досталась квартира куратора фестиваля, состоящая из трёх или четырёх комнат, странно тесных, словно коммуналки возле метро Елизаровская.

У них там почти всё время шёл дождь, а в промежутках воздух состоял из медленно тающих серых хлопьев. Писательская жена сидела на кухне в окружении четырёх или пяти детей, которые её достали, но она старалась не подавать вида. У неё было лицо с усталыми расплывчатыми чертами, длинные волосы (оттого, что не хватало денег на модельную стрижку), и мягкий голос, контрастирующий с визгом детей. Я вспомнила, что читала в сетевом журнале её беспомощные стихи. Единственное, что у неё хорошо получалось, — это борщ. Ей как будто кто-то сообщил, что я не выношу горячее, и она подала еду холодной.

Чем дольше я смотрела по сторонам, тем больше хотелось исчезнуть отсюда: мало кто говорит всю правду о домохозяйках и вообще «домашних» бабах — они часто бывают неряшливы, у них вечно валяются на полу мотки шерсти, пряжки волос, нестиранное бельё, обёртки, трамвайные билеты. Однообразная жизнь развивает лень и безразличие.

Ко всему, кроме чужого секса. Писательская жена отправляла детей одного за другим спать. Личные подробности посторонних жизней интересовали её больше, чем дети: своих детей она видела ежедневно, посторонних людей — только на фестивале.

Ахматова сказала: меньше всего людей интересуют чужие сны и чужой блуд, но сейчас кажется, что именно чужие сны и чужой блуд составляют основу текущей литературы. Всё, что я хочу сказать другим о своей личной жизни, укладывается в формулировку «имею постоянные полиаморные отношения», остальное им знать не положено. Я спросила писательскую жену: «А зачем вы спрашиваете — вы хотите написать об этом?»

Форточка была открыта, с улицы пахло жареным мясом.

Писательская жена посмотрела на меня так, будто собиралась всплеснуть руками, но вовремя вспомнила об архаичности и надуманности этого жеста. Но то, что она произнесла, было, на мой взгляд, несколько не лучше. Ей самой казалось, что это выглядит искренне — может, это и было искренне:

— Неужели ты думаешь, что я ничего не знаю?!

Бедная, как искусно направляешь ты пути твои, чтобы снискать любовь!

Страшно за тебя, как вы с ним будете жить вместе в задрипанном райцентре, ты будешь его кодировать, кормить и выхаживать в дурдоме, а периодически он тебе будет наваливать.

А ты будешь верить, что это исключительно твой, особый, путь!

Представь и запомни, добрая женщина: ты войдёшь в историю, как подруга прокуренного алкаша, совершенно такого же, как порицаемые тобой маляры и графоманы. И

всё его творчество — как недоразумение и окурок на заплёванном тротуаре.

Но я не понимала, о ком она говорит, и какое отношение эта история имеет ко мне.

— Да неужели? — воскликнула она, уже не боясь разбудить своих проклятых детей. — Неужели ты думаешь, что у тебя всё может быть иначе? У всех нас может быть в лучшем случае, как у меня.

Была ещё одна писательская жена, по прозвищу Крокодилица Русской Литературы. У неё развилась наследственная шизофрения, усугублённая пьянством: она вечно что-то о ком-то врала и досочинялась до того, что её уже никто не воспринимал всерьёз.

Они все пишут о любви и детях. Не иначе, оттого, что дети у них золотушные или слишком нервные, а в любви не везёт. Мне чаще везло, чем нет, но я очень редко писала о счастливой любви — боялась сглазить?

Не будь, как все эти бабы, не верь в их кухонные сказки, не бойся их глаз, говорю я себе. Так ведь всё равно не стану и не боюсь, откуда тогда берётся эта хрупкая фанерная стенка, похожая на стыд, похожая на удивление мента, принявшего счастливого человека за пьяного?

Как будто в этой стране только пьяные имеют право на счастье и только несчастные бабы имеют право писать о любви. То, что они называют любовью, то, с чем мне везёт, а им — нет, надо называть другими словами или совсем об этом не говорить.

Я не люблю рассуждать о любви. Я вообще не очень люблю произносить слова, не положенные на музыку. Мой любимый цветок — перекаати-поле. Можете поверить, что меня не существует, так вам будет легче.

В соседней стране у некоторых женщин в сердце вогнан стальной католический крестик. Движения сердца провоцируют резкую боль, ранний инфаркт, закрытие митрального клапана. У меня там ничего нет.

Некоторые делают татуировки из двух изогнутых красных или чёрных полукружий, грубо намекая на свою тонкость и чувствительность. У меня ничего нет, только немного полустёртых лазером шрамов.

Люди в Польше бывают такие, знаете, как «паутина — к ране приложишь, поможет». Но у меня давно уже нет никаких ран.

(Писательские жёны принуждают меня к дальнейшему молчанию.)

Хорошо, наверно, быть польской поэтессой: здесь очень талантливые поэтессы и красивые, почти как калининградки. А писательницы прозы здесь, кажется, повывелись.

У мальчика из города Ожеча на полу лежит книга Гретковской. Фотография Гретковской мне нравится, текст ужасен. Автор причисляет себя к мистикам, при этом путает влажный и сухой путь, и не только. Не могу вспомнить, кто первым написал о славянском агрессивном дилетантизме: когда подолгу разговариваешь на чужом языке, начинаешь забывать элементарные вещи. Нужно родиться в билингвистическом государстве, чтобы такого не было. (Хорошо, наверно, быть украинской писательницей: они так много всего помнят.)

Мальчик очень красивый, у него тёмные волосы и светлые глаза — сочетание, ради которого я продам душу: мне не жалко, у меня их много. То есть, мне так кажется пять лет назад. Теперь та душа, которую можно было продать, вольноотпущена. Не знаю, где она, в чью незащищённую голову вселилась.

Он говорит: «Я люблю тебя». Меня это не напрягает: на польском это может быть синонимом слова *kochać*, но чаще означает обычную симпатию.

Кто-нибудь сделал бы из этого мелодраму. Субкультурные мелодрамы особенно забавны. Представьте, что вы и другой хичхайкер — посторонний, вы ехали не вместе, просто пересеклись на границе, — ложитесь спать недалеко от кемпинга. В Гданьске — или не в Гданьске?.. — рок-фестиваль, и на толпы молодых людей в драных джинсах и с походными рюкзаками полиции плевать. На время фестивалей мы перестаём вызывать подозрение.

Ну, не то чтобы совсем плевать, просто если бы я ехала неделей раньше, менты (ударение на первом слоге) могли бы принять меня за хохляцкую проститутку и устроить шмон, а сейчас они даже не уточняют, куда я еду. Оказывается, проститутки в Польше тоже могут тусоваться на трассе с походными рюкзаками; скажите мне, пожалуйста, что это кошмарный сон.

А есть автостопщики, которые раскладывают спальные мешки прямо на газоне напротив надписи «Policja», и ничего им за это не бывает.

Когда я открываю глаза, полутемно — около трёх ночи; незнакомый мальчик в неформальской футболке говорит мне, что здесь опасно, неподалёку избили кого-то, и менты могут придти сюда и спросить, что я здесь делаю. Говорит, что ему двадцать семь, но выглядит гораздо моложе. Рядом его белобрысый поддатый приятель, который вскоре пропадает. Кто бы на моём месте не воспользовался ситуацией?

Ожеч напоминает заброшенную немецкую колонию. Аккуратные двухэтажные дома под красной черепицей, без горячей воды. В малочисленных городках русские дети чаще слушают попсу и блатняк, а польские — панк и хардкор. Ещё поляки симпатичнее, вот и вся разница.

Стандартный польский панк напоминает десятикратно ускоренное шипение масла на дрянной, без тефлонового покрытия, сковородке. У Анджея двое младших братьев, которые орут, чтобы мы «не разводили порнографию». И что у них нет водки, сигарет, работы, а у этого ублюдка есть водка, сигареты, работа, несмотря на то, что он *chory psychiczny*. Дверь изнутри не запирается. Мне-то что, мне всё равно в полдень самое позднее уходить, а моей банковской картой они, даже если незаметно вытащат, всё равно воспользоваться не смогут.

Польские мужчины сентиментальны, поэтому случайная связь с кем-то из них может закончиться долгим выяснением бог знает чего.

Да, он, правда, говорит, что любит меня и уедет со мной в Москву. Сначала я не понимаю, зачем. Даже если я напьюсь, всё равно не смогу понять. Я давно смирилась с тем фактом, что если поблизости оказывается симпатичный психопат — он непременно мой.

— *Pada deszcz*, — замечает он, глядя в окно, и по-русски добавляет: - Поэтому ты сегодня не уйдёшь.

Да нет, уйду, конечно. «Ты будешь меня вспоминать?»

Да, конечно, вот сейчас вспоминаю, например.

Чай у них закончился, зато есть водка. Я открываю форточку, на улице пахнет водкой, во дворе парни в чёрных балахонах со скелетами орут друг на друга, через слово упоминая «курву-мать». В кухонном шкафчике есть ещё водка. Удивительные люди — русские на их месте давно превратились бы в жуткие убожества. Жить в таком месте, столько пить и при этом вежливо себя вести — русские такое редко умеют. Настоящая мужская красота долго не поддаётся спиртному; и всё же я здесь не задержусь. За спиной у меня, словно соляной столп, вырастает писательская жена:

— Страшно за тебя: ты переедешь в Польшу, устроишься уборщицей или преподавательницей русского, выйдешь замуж за этого, не выговорить его фамилию, ещё длиннее, чем твоя. Будешь кодировать, кормить и выхаживать в дурдоме, а периодически он тебе будет наваливать. Представь и запомни, добрая женщина: ты войдёшь в историю, как эмигрантка, страдающая русофобией, вроде тех скудомных беглецов, над которыми смеёшься. А музыканты вроде этого парня ещё хуже писателей, и всё их так называемое творчество звучит, как стук пивной пробки о заплыванный тротуар.

В голове у писательской жены ящички для письменных принадлежностей мужа. Иногда они превращаются в белые поцарапанные кухонные шкафчики. В них водка. Слушая аудиозапись выступления своего мужа, писательская жена преисполняется такой самоотверженной гордости, что, кажется, через минуту растворится в воздухе вместе со всей своей писаниной.

Над душой у русской писательницы всегда стоит писательская жена.

Я не добрая. Когда писательские жёны называют кого-то добрым, они льстят с целью выпросить денег на опохмелку своим мужьям. Но встречаются среди них и другие, искренне верящие в человеческое.

Я не добрая, твой придурок не будет пить за мой счёт. Писательская жена хмуро отворачивается, смотрит на экран своего нетбука, там мельтешит что-то невыносимое.

*[лучшее — это когда нет слов, нет жены, нет души]*

Однажды я увидела в богемном клубе прекрасную девушку с вьющимися волосами, ничью жену, она, как и я, бессознательно говорила о себе то в мужском, то в женском роде.

Помню, что она родилась в один день с Витткоп, и что мы когда-то сидели с ней за одним столом, но не разговаривали.

А зачем мне стремиться поговорить с ней? О чём? О чужом блюде и чужих снах? «Он считал — и сто голосов молчали ему в ответ. / То ли он был порочен, то ли давно повержен, / То ли какому недугу жалостному подвержен, — / Хрен чего он расскажет тебе в ответ»<sup>4</sup>.

И я много лет помню её одну: её лицо, казалось бы, легко можно спутать с чьим-то другим, но не получается; а все писательские жёны схожи между собой, и слова их сплелись в один клубок серой шерсти, мне хочется называть их тройным именем — Ольга-Ирина-Елизавета, например, хотя вместо Ирины вполне можно поставить Наталью, и ничего не изменится.

Ты можешь принимать тяжёлые наркотики, чтобы никто не стоял у тебя над душой, а ещё потому, что никто не стоит у тебя над душой, никто не держит. Может быть, боги, которых двенадцать, но точно не та, которая на кухне, у которой ящички в голове, которая хочет стать тобой, а ты или боишься, или, молча улыбаясь, наблюдаешь. Слишком неловко рассказывать об этом вслух.

2010.

---

<sup>4</sup> Из стихотворения Ирины Шостаковской.



## МЕТАНОЙЯ

### 1. Юля

Я не слишком люблю имена, особенно русские, которые повторяются настолько часто, что, кажется, уже никому не подходят. Русня глазееет на обладателя редкого имени, как дикарь на iPad.

Иногда русские пытаются не глазеть, а всматриваться, в результате продают книжечки о магии имён в одном разделе с астрологией, соционикой, плохо переведёнными нумерологическими заметками Луиса Хамона и другими радостями для бедных: что ещё можно рассказать о стёртых вещах?

Редко и нехотя я боролась со снобизмом — тоже присматривалась к имени, которое меня подсознательно настораживало. В кириллическом написании оно выглядело скользким, податливым, беспозвоночным, как амёба. Сквозь увеличительное стекло я увидела, что Ю. размножаются делением и оборачиваются, чтобы меня сожрать.

Сам этот набор звуков был словно плавящееся стекло.

Одна из его первых обладательниц ассоциировалась с пластмассовой куклой или манекеном. Правда, она тогда была ребёнком, а дети, если заставить их замолчать, всё равно что из пластмассы. Сверстники мне представлялись куклами, у которых глупый бог, не нарисованный на иконах, забыл отключить звук. В восьмидесятые я, как ни старалась, не смогла придумать ни одного мифа, оправдывающего мерзость моего биологического вида на ранних стадиях развития. Иногда мне нащёпывали, что это не совсем мой вид, но я уже в девять лет прочитала в научно-популярной книжке, что так думать нехорошо, негуманно и ненормально, и стала размышлять над собственным исправлением. Эта задача занимает меня до сих пор, хотя и не так серьёзно, как раньше.

Может ли другой ребёнок по-настоящему чувствовать боль? Дети, которых тоже называли девочками, были плаксивы, и я их почти всех презирала. Их слёзы напоминали бесцветный кисель в школьной столовой. Они ненастоящие, думала я. В то же время я знала, что у меня чувствительнее

кожа, чем у этих маленьких пейзажиков, и гораздо ниже болевой порог; били нас всех одинаково, так почему я быстро отучила себя от слёз, а они не сумели?

Сначала мне нравилась только одна девочка, темноволосая и сероглазая, очень спокойная, с тонким нездешним лицом. Её широкие запястья, единственное, что казалось в ней крепким, плавно переходили в узкие кисти. Когда мне говорили, что у меня красивые руки, мне не верилось: они же не такие, как у А. Она была младше на целый год, и меня поражало: почему мне не хочется бить её или дразнить, а наоборот, хочется ей подражать? Я была шумной и несдержанной, за исключением чисто мальчишеского умения перебарывать слёзы и боль, — А. точнее всего характеризовало книжное слово «хладнокровная». Со временем, как сказала одна мёртвая еврейка, «всё, что было деревом, отсырело, всё, что было металлом, остыло», и если бы моё сегодняшнее сознание переселили в моё десятилетнее тело, я, пожалуй, стала бы прелестным существом, очень напоминающим А., и она согласилась бы со мной дружить.

Ю. была её полной противоположностью, с такими обезьяньими загибающимися лапками, что хотелось отрезать. До сих пор, когда я ловлю кого-то на подобном мартышечьем кривлянии, начинаю мечтать о камне, ноже или бомбе; с другой стороны, это был нормальный ребёнок, дети простого народа такими и должны быть.

Мне плохо в поездках: на этих нарах, обтянутых кожзамом, под винтажную попсу и кудахтанье попутчиц всегда снятся кошмары. Но не те жуткие, по меркам интеллигентных барышень, вещи, которые наблюдаешь отстранённо, как архаус берлинской школы, чтобы потом записать, а события, в которые ты вовлечён тем же невозможным богом, что

создал детство, от них раскалывается голова и подташнивает.

Во сне я вернулась в город, из которого на самом деле уезжала этим рейсом, — даже волосы, кажется, болят; поэт, которого я сейчас цитирую, говорил: это от бессонницы, а у меня, как у него бессонница, такие же сны.

Я была взрослой, определить собственный пол, как и в большинстве снов, сначала было нельзя, а Ю. — девятилетним ребёнком. Мне стало интересно: у девочек, которые все из себя такие девочки, кровь такая же неестественная, как слёзы? Где я отловила её, не помню. В последний раз увидела её на вокзале в Р. двенадцать лет назад, в ожидании московского рейса. Мать сказала: смотри, это Ю., теперь она в техникуме. Оранжевая помада, сиреневые колготки, банка местечкового пива. Поймать, убить в темноте.

Любопытно, откуда столько крови, когда во сне насилуешь ребёнка. Я оборачиваюсь женщиной и ощущаю, что осязательная ебля этому полуживотному так же неприятна, и это хорошо. Арматура в моих руках становится большим железным прямоугольником, легко рассекающим тело на куски. У девочки нет внутренностей, её кожа постепенно затвердевает, и я понимаю, что на самом деле она — манекен в детский человеческий рост. Из пластика по-прежнему течёт кровь, пахнущая кожным.

Ю. не читала книг, это единственное, что примиряло меня с ней. Подростки пролетарочки листали жёлтые газеты и слащавые романы, — лучше ничего. Ю. с высоты своего роста читала разбросанные ветром по обочине травинки, соломинки, сухие ветки, из них складывались иероглифы, а я должна была на землю ложиться, иначе нечётко. Красиво, правда, говорила она, победно сверкая тёмно-кариками, как у меня, глазами. Ничего, думала я, вырасту, заработаю денег и верну себе зрение, а ты никогда не научишься книгам, как я.

Ещё Ю. была троюродной сестрой Л., которой я тоже сдержанно восхищалась: она была единственная натуральная брюнетка с веснушками, которую я вообще видела. Волосы у неё были ещё гуще, чем у меня в детстве, и вились, и вот эта вертлявая сволочь Ю. имела больше прав на тесное общение с Л., чем я. Понятия ревности и зависти тогда были для меня живыми и осязаемыми, а после семнадцати стёрлись, слущились, превратившись в мёртвый прозрачный эпителий.

Когда я её поймала, кусок улицы осветился со всех сторон: со стороны магазина, со стороны аптеки, со стороны не работающего уже третий год фонаря.

## 2. Юля [продолжение]

Неспешно листаю бредленту, пока сохнут волосы. В комьюнити ru\_herself — портрет Тильды Суинтон, очень похожий на Юлю. Я даже вздрагиваю, блядь. Года два назад она утомила меня своим нытьём, угрозами на литпортале, алкоголизмом и малограмотной речью. Мешки у неё под глазами выросли до размера цистерн, донесла агентура. Юля всё ещё могла пить дешёвое пиво на детской площадке и одеваться в секунду, а я нет, ну и зачем было спать с ней? Настучала модераторам на угрожающую овцу другая Юля — мне, как обычно, было плевать.

В самом начале показалось, что она ничем не отличается, кроме окраса. Фэнтези, лесбийский рок, проёбанный диплом. Ещё немного, и начнутся цистерны, алкоголизм, литпортал.

Как ни странно, Юля поддавалась хорошему влиянию. Я это ценю. В бывшей прусской столице проще найти клад, чем

вменяемую лесбиянку. Она выглядит тёмной, неместной, часто уезжает в Литву.

Когда я пытаюсь вспомнить, был ли у меня положительный опыт с носительницами этого имени, мозг устраивает полу-часовую амнезию.

Я беру мобильник, который забыла отключить. Тёмная Юля говорит — и я понимаю Джеймса Остерберга, он в биографии написал: Венди меня достала, она была богатой и заботилась обо мне и заставила пространство лакированными столиками, ночью я хочу подняться и наиграть приснившуюся мелодию, а у меня эта женщина в постели, Юля говорит (к слову, она не слишком богатая, и у неё своеобразное понятие о заботе):

— Ты сама оставила мне пароль от журнала, чтобы я стёрла кого следует и заблокировала дураков, пока ты едешь стопом, а теперь выясняется — я что-то не то написала, и я плохая. Это чёрная неблагодарность. — Это белая неблагодарность, отвечаю я, пытаюсь брутить забытый пароль от другого аккаунта. — Белая — пустая, безразличная, похожа на рассыпанный порошок без запаха. А чёрная — это когда человек ненавидит дарителя за то, что ему обязан.

Юля охуевает, пока я ломаю буквы и цифры. Похоже, мне пора вынести эту мину, пока она не взорвалась.

— ...но ты ведь понимаешь, что такое любить, почему ты так себя ведёшь? — Я снова прислушиваюсь к бреду из телефона и нарушаю правило «дай девушке выораться, сделай вид, что всё понял, и забей»:

— Разлюбить ещё круче, чем полюбить. За время любви ты забываешь, что такое нормальное спокойное состояние, в котором выбрасываешь привязанности и людей. Как ни

парадоксально, спокойствие сочетается с ощущением огромного счастья, будто убил кого-то за дело.

— Ты ведёшь себя, как мужик! — восклицает она. — Нет... ты не «как мужик» — ты вообще не человек!

Мне работать пора, а у меня эта женщина в телефоне.

Вода издали густая, хочется нарезать её на ультрамариновые ломтики, а песок похож на пшеничный хлеб. Когда копирасты окончательно запретят качать из сети музыку и книги, интернет почти потеряет смысл, и можно будет поселиться на косе, настолько не похожей на серые окраины моего детства, что я люблю её с каждым годом всё больше. Здесь местные мелкие божества, тихие и мстительные, им можно будет приносить жертвы туристами. Главное — повыше забор.

Запустить под черепичную крышу, а потом — в подвал маленькую девочку, назвать Юлей, кормить белым песком вместо хлеба.

### 3. *рассыпающаяся гора песка*

«Ты забыла у меня своё тибетское гадание и томик Марии Семёновой, который я обменяла в библиотеке на белую авангардную книгу.

[Глянцевые защитного цвета прямоугольники аккуратно режут воздух, если их рассыпать. Выпадает сочетание на-ца.

Я давно ни во что не верю, это просто способ медитации]». — «Оставь, — отвечает она, — себе».

Была ещё одна Ю., но уже достаточно, ещё шаг, и навсегда увязнешь в расплавленном стекле.

Я чуть не поскользнулась, сворачивая в проулок: было начало мая, шли дожди, люди месили грязь, а тротуар никто не ремонтировал. Скользящий путь порока. Внутри — дым и уборщицы, пытающиеся проветрить помещение. В. уже третий или четвёртый раз назначал мне свидание, но меня отвлекало то одно, то другое. Я же хотя и свободный человек, но не всегда.

— Я соскучился, — сказал он, мы выпили «Пауланера», я обернулась к дверям и увидела, что к нам медленно приближается Юля. Только она знала, где меня искать: если нет в гей-клубе, значит, здесь.

— Мы не договаривались о встрече, — сказала я. Юля сделала вид, что меня нет.

— Неужели вам не стыдно, — заговорила она с В. тихо и нагло, — если вы будете отбивать моих любовниц, вашим яйцам будет плохо. Как успехи на почве спекуляции акциями? — продолжала она. — Вы знаете, что встречаетесь с социалисткой? У вас уже был идеологический, это самое, конфликт?

На шум сбегался охранник и намекнул, что Юлю уже как-то попросили покинуть заведение. Я знала эту историю — с одной девицей, с которой она здесь прилюдно целовалась задолго до нашего знакомства.

Да, кивнула Юля, я ухожу, но сейчас повторю то, за что меня тогда выгнали из вашего на словах терпимого заведения. — Она наклонилась, поцеловала меня в губы и посмотрела с таким видом, будто я была обязана немедленно уйти.

Юля, ты дура, сказала я. Она чуть не разлила мой чёрный стаут, сука. В. обнял её за плечи: ничего-ничего. — Идите вы, — со слезами проговорила она, — что вы ко мне лезете, тоже мне, лакомый кусочек из числа бывших в употреблении, меня не интересуют мужчины, я их ненавижу.



Успокой девочку, мягко попросила я и вышла умыться руки. Ты дура, кричала Юля мне вслед, ты сволочь. Когда я открыла глаза, зеркало напротив словно расплавилось. Прошло пять минут, нельзя заставлять людей ждать.

Я просыпаюсь ночью, в середине темноты — квадрат монитора с плохо смонтированной расчленённой. Это он мне назло включил, зная, что ты такое смотришь, а я нет, сообщает Юля. Она старается одеться побыстрее, но у неё (я включаю настольную лампу) то одно падает из рук, то другое. Вы зачем напоили меня и сюда привели, вопрошает она, сменяя кружевное бельё, ты что, хотела мне доказать, как занимаешься сексом лучше меня? — Подобные стилистические конструкции заставляют меня замирать в восхищении. Юля принимает моё молчание за симптомы *guilty trip*. — Ты думаешь, мне плохо? Мне не плохо, точнее, не из-за этого плохо, вот тебе точно плохо так, как ты думаешь, что должно быть мне. Кстати, он ушёл за вином. — А мне не нужно вина, у меня ещё мыльник человеку не возвращён и статья не отредактирована. Сквозь шум в душевой я слышу голос Юли: ей идёт говорить сквозь воду — тембр становится одновременно мягким и агрессивным, как у солистки панк-группы «Kalashnikov». Прикидываю, что сейчас делает Чинция. Сколько же талантливых женщин загубили мужья и дети.

Юля предполагает, что мне хочется выть от одиночества с таким отношением к людям и политическому строю. Нет, нисколько, говорю я, и мои волосы в мокром зеркале блестят, как тёмно-красная черепица под дождём. Во-первых, отучайся пользоваться клише, если хочешь полноценного общения. Во-вторых, я в принципе не испытываю желания выть от чего бы то ни было. В-третьих, об одиночестве я могу только мечтать, например, сейчас.

Всё, Юля переходит к суровой дидактике, напоминая одну рано постаревшую и растолстевшую козу, по мнению которой тридцатилетняя женщина, выглядящая подростком, не носящая чулки и микроскопические сумочки, не вписывается в приличное общество. А если такая женщина нравится мужчинам больше, чем хабалистая коза, её полагается распять на помойном заборе.

*Янихуянепонял*, отвечаю я, изложи проповедь ещё раз, пока я не ушёл.

А. раздражала Ю. ещё больше, чем я. Однажды на перемене, когда все носились, как сумасшедшие, Ю. загнала её под лестницу, выкрикивая неразборчивую чушь. Это была ненадёжная деревянная лестница с первого этажа, где учились младшеклассники, на второй, под ней была присобачена (кажется, моим отцом) низкая перекладина для подтягивания. Она слабо держалась, ребёнок мог её при желании снять. Окружающих девчачья ссора не отвлекала от более забавного зрелища: один второгодник сосредоточенно бил другого головой о батарею в коридоре. Отопление снова отключили, и детям, как считал директор, было полезно бегать и согреться.

Ю. подняла ржавую перекладину на вытянутых руках и приложила к горлу А. и сказала: сейчас я тебя задушу. Я всё же пробилась сквозь толпу и схватила Ю. за волосы. Это года через два я научилась бить по-мальчишески и страшно вцепляться в глотки, а тогда была ненамного сильнее этой салабонки. Кто-то помчался наверх в кабинет завуча — жаловаться на меня отцу: недавно я не позволила этому кому-то, не помню имя, избить меня в кровь, и теперь ему доставляло удовольствие слушать, как родители-учителя орут на меня прямо в школе. Отец был страшно зол, у него ещё не прошёл бронхит, а работать было надо. Он потащил

меня в библиотеку и завопил: ты что... - Отец вовремя остановился, чтобы не сказать: «охуела» или «ебанулась», всё-таки он скандалил не дома и был в некоторой опасности. — Девочка не должна себя так вести! Я тебе все волосы выдеру, мразь, за то, что меня позоришь! Зачем ты так себя ведёшь, что на тебя жалуются? Знаешь, что бывает с теми, на кого начинают жаловаться ещё в школе? — Я решила не думать об этом и сказала: я хотела заступиться. — Заступить-ся?! — заорал отец. — Врёшь! Хотела сделать мне назло, ты знаешь, что я тут работаю, и драками позорить меня нельзя. Неблагодарная тварь! — Это не я тварь, — отозвалась я, слегка осмелев, потому что за минуту заново привыкла к его крикам. — Это Ю. — Сам факт того, что я с ним спору, неважно, о чём, окончательно вывел его из себя. — Я тебя убью, — прошипел он и закашлялся. — Ты понимаешь, — он намотал мою косу на руку, — понимаешь, что я тебя убью, если ты будешь меня позорить?

Фонари в этом квартале горят даже днём. Но когда я поймала её, свет погас слева, и справа, и звёзды наверху водвинулись внутрь черноты, как ящички письменного стола.

#### 4. снова Юля

На следующий день я обнаруживаю в сумке белую флэшку с зигзагообразным чёрным узором. Юля звонит, извиняется, она подложила это мне, чтобы спяну не потерять. Мне ни секунды не любопытно, что там. Ещё семь лет назад было бы.

Отдам, равнодушно говорю я. — А какие у тебя на сегодня планы? — А что? — Она молчит. Отвечаю, что собираюсь съездить на косу. Ю. оживает: - Я тоже там буду, давай

пересечёмся, — а мне хотелось побыть там одной, но, может быть, мне удастся быстро и безболезненно убрать оттуда Юлю.

Я думала, эти, шумные и общительные, отвяжутся от меня, когда я поселю внутри темноволосую сероглазую девочку. Надеюсь, А., хотя и вышла замуж за какую-то ментовскую суку, так и не научилась вульгарно хохотать, и у неё, как и у меня, нет морщин от смеха. Моя мать говорила, что она пьёт. Я слышала, что такие часто бросают. Когда я смотрю на медленную воду сквозь низкие изогнутые ветви сосен, мне почти всё равно: девочка, которой А. когда-то была, осталась во мне, серьёзная и немногословная, а шум и смех остался для белого экрана в мелких значках — улыбаюсь не я, моё отражение.

Чужие и болтливые, собственники, не умеющие смотреть сквозь ветви; она в третий раз предлагает: пойдём вниз. Я выносливей, и моя обувь удобнее, мне легче спуститься с насыпи, но не хочу. Я говорю: нет; не пойду; не открывала твои файлы. — Бесполезно смотреть на меня, изображая загадочность, мне дела нет до твоих нелепых тайночек, я не просекаю твои намёки, заberi всё своё от меня.

Почему, спрашивает она, ты такая чёрствая.

Мне некогда, мы всё уже выяснили, у нас всё меньше общего, скоро позвонит N. — Тут на меня высыпается типовой набор человеческих представлений, скучный, как детские алфавитные кубики. Разумеется, ей тоже пора, но ей уже не остановиться: и «подлые двуличные бисексуалки уходят к мужчинам», и «если он старше меня, значит, мне интересны его деньги», и «я не думаю о простых читателях, которым необходимо...» Последнее особенно радует, хоть я и не дослушала.

Я ничего не пишу и читаю по соломинкам, сухим обломкам веток, прошлогодней хвое, попробуй отступить на шаг, и это сложится в букву «айн». Замолчи, советую я.

Ю. готова наброситься на меня, но я вовремя перехватываю запястье и выкручиваю ей руку. Она опускается на колени, я мысленно говорю ей:

.....

Когда она попытается подняться с разбитой головой, мне скажут другое — то, что нельзя было раньше, потому что местные мелкие божества слишком плотно окружили меня своей тишиной:

В этом пустом месте, в этом круге у нас нет никаких имён. Нет никаких имён.

*2011.*

## СВЕТОЛОВУШКА

### I

#### Праздник мёртвой Марии

Они отмечали этот день поздней осенью, вроде бы, между четвёртым и седьмым числом. Их говор напоминал люзинско-вейгеровский, но отдельные лексемы были явно позаимствованы из украинского языка; пейзаж напоминал Швейцарию. Когда я приехал, в деревне было сумрачно и сыро. Вокруг пастырского дома — ямы и замёрзшие лужи, по ним бродили чёрные косматые козы.

Священник, который согласился предоставить мне кров и пищу за умеренную плату, был примерно моим ровесником, лет тридцати пяти. Глаза у него были как замёрзшая черно-плодная рябина, и он отрешённо смотрел на закат в оттаявшее окно.

— Здесь вам толком никто ничего не расскажет. В прошлом году приезжал Д., и вязальщица после трёх часов уговоров спела ему песню, сочинённую другим фольклористом в 1896 году. Скоро народ продаст расплотившихся коз, немного разбогатеет, накупит телевизоров, и вместо памяти у него будет мелькающая чёрно-белая дрянь.

Я хотел возразить, что любая память, в сущности, есть мелькающая чёрно-белая дрянь, но раздумал и вместо этого спросил: кстати, что тут произошло как раз в 1896 году? Мы

на кафедре слышали краем уха странные вещи, но источников никто не видел.

— В девяносто восьмом, — поправил священник. — Закат хорош — правда, эти разводы складываются в портрет Иисуса в царской порфире? — Скорее, это напоминает синюшные кровоподтёки на заднице проститутки, а снежное поле внизу — точь-в-точь простыня, подумал я и вежливо кивнул.

— Нет, не надо притворяться, — сказал пастырь, — это мы видим Иисуса, мы к нему привыкли, и любая горстка щепок возле поленицы под нашими взглядами складывается в распятие. Так вот, когда-то на окраине жил крестьянин, бил жену и детей, но это не бог весть какой грех — он прославился другим: судачили, что склочных собутыльников и чужаков он заводил далеко в лес и возвращался один. Весной 1898 года егерь нашёл в лесу труп приезжего, но вину крестьянина никто не смог доказать. Болтайте дальше, усмехался он, да, я однажды пошутил, дескать, жалею, что по закону могу рубить только деревья, а не головы, но это ничего не значит.

Однажды крестьянин пил на кухне пиво при свете сальных огарков, и вдруг за столом напротив него появилась богоматерь. Младенца Христа с ней не было, но дровосек сразу понял, что это она. Серое платье спадало на пол тусклыми складками, голова была покрыта пурпурной шалью. «Радуйся, пречистая», — сказал крестьянин, ибо с приходом её в каждой щели избы прочно обосновались тепло и свет. «Радуюсь», — ответила Мария и стала медленно умирать. Частицы её души, говорят, были похожи на квадратные кусочки воска, они выпадали из тяжёлых рукавов и застывали на полу, превращаясь в игральные кости, но вместо чёрных точек на них были двузначные числа. Все они вскоре исчезли, только настоятель на следующий день обнаружил в

углу пластинку с цифрами 31. Дровосек, поражённый этим зрелищем, не мог шелохнуться. Через несколько минут перед ним был труп богоматери, такой же неподвижный, как он сам. Ангелы, шурша охристыми крыльями, встали по левую и правую руку Марии, вопрошая: «Свидетель, хочешь стать святым? После своей первой смерти ты будешь так же являться людям и умирать другою смертью у них на глазах, чтобы они раскаялись». Впрочем, это позднейший апокриф. Д. утверждает, что на кухне в тот вечер не было никого, кроме богородицы и её свидетеля.

Когда крестьянин осознал, что грешен, труп начал медленно исчезать — сначала растворились одежды, потом плоть, потом кости растаяли, словно куски льда в кипятке, и можно было спокойно жить дальше.

После того, как он поведал о случившемся, односельчане больше не болтали о нём чепухи. Он стал образцовым прихожанином и теперь поколачивал жену не только за пригоревший ужин, но и за недостаточно скромное выражение лица. Д. добавляет: «Ничего прекраснее лица мёртвой Марии он не видел, и ничто его так не радовало, как возрастающее сходство супруги с этим нетленным образцом».

— А как местные празднуют этот день? — спросил я.

— Да обычно, — ответил пастырь, — пекут пироги, выпивают, это примерно то же самое, что и Рождество, только без ёлки.

Меня удивило, как охотно простонародье рассказывает про этот обычай, не видя в нём ничего кощунственного. Соль заключалась именно в этой обыденности: если бы они ежегодно съедали человека или, по крайней мере, закалывали чёрную козу на вершине горы, не возникало бы чувства, будто тебя обманывают, не хотят делиться сокровенным, не выполняют обещаний. Пятого (или шестого) ноября я



заглянул к старой вязальщице. Немногочисленные гости надевали в прихожей меховые куртки. «Ну, счастливой смерти!» — пробормотала им вслед бабка. «Счастливой смерти!» — вразнобой откликнулись они.

Стол украшали пустые водочные бутылки, стену — икона богородицы с закрытыми глазами. Фон вокруг её головы был багровым и серым. «Угощайтесь», — сказала старуха и протянула мне пирог с картофелем и грибами.

Вот бы увезти эту икону и сдать в музей, подумал я, это поспособствует скорейшей защите докторской. С утра я пил то в одном доме, то в другом, мне тут надоело, багрово-серый туман над головой, непонятные этим людям слова в голове, снег, грязь, я мог бы в это время сидеть в парижской кофейне, возглавить парижскую коммуны, посудите сами, как разговорить славян без бутылки, и всё равно в итоге они выложат тебе сказку, придуманную твоим предшественником, таким же языковедом-разночинцем, у них нет ничего своего, кроме повода выпить, да и повод они самостоятельно обосновать не в силах.

Немного позже я вернулся к пастырю, мол, старуха умерла. Нельзя ли забрать икону, тем более что единственный дальний родственник вязальщицы собрался в город навсегда, и ему нужны деньги, и незачем это сомнительное наследство. Сомнительное, говорите, поднял брови этот ханжа. Можно сколько угодно спорить о достоверности видений, но это изображение — раритет, и если вы будете настаивать, я сообщу в полицию, и заодно они начнут выяснять, при каких обстоятельствах умерла старуха. Мне лично кажется, что при очень странных...

Эта вот, в сером халате, похожая на мою дочь, заявила, что у меня Альцгеймер. Счастливой смерти вам. Я тогда немного ошибся, мне надо было попытаться поверить, что всё так и

есть, а сейчас уже поздно, целые куски времени выпадают из рукавов. У меня нет никакой дочери.

Медсестра пожимает плечами. Она почти уверена, что теряющие память бывают очень счастливы перед смертью, если их специально не мучить. Внутри у них чисто вымытое небьющееся стекло. В холле дома престарелых висит икона, Мария на ней такая живая, что, кажется, вот-вот умрёт, но это лишь кажется, мы же понимаем, что этот деревянный прямоугольник будет пылиться здесь, пока не придут чужие и не подожгут здание, пока небо не упадёт на землю, оказавшись чем-то вроде берестяного короба, набитого дохлыми насекомыми и трухой.

## II

### Пятнадцать

Т. решил назвать себя гностиком, в том числе, чтобы приманивать темноглазых местечковых поэтесс. Некоторые из них не различали, где православная церковь, а где униатская, но легко велись на красивую болтовню. Только Н., с которой он пил глинтвейн в заснеженном Львове, предположила, что он, во-первых, скорее николаит, а во-вторых, просто повышает себе самооценку.

— Мне плевать на самооценку, — возразил Т., — собственно, я вообще предпочёл бы развоплотиться, раз пошла такая ерунда.

— Почему бы просто не повеситься? — съязвила Н.

— Это неинтересно, — улыбнулся Т., — слишком человеческое, почти так же скучно и банально, как строить начальника ЖЭУ.

— Можно же сделать интереснее — подорваться в церкви!

— Так, — кивнул Т., — вот будет мне лет сорок пять, а до этого я буду записывать свои оставшиеся кошмарные сны. Мне ещё рано в церковь.

— Ты этого не сделаешь, — убеждённо заявила Н., и он стал рассказывать, как ему с малых лет пророчили то одно, то другое, а выходило всё равно третье, потому что Т. — хозяин своему слову, не допускающий в свою жизнь чужие негодные слова.

Н. предложила встретиться через пятнадцать лет и проверить его обещание на прочность. Что может быть забавнее, подумал он, вот через пятнадцать лет начнётся научный атеизм, и взрывать будет нечего, а умирать-то пора. Впрочем, неужели даже в самом лучшем обществе не найдётся где подорваться честному человеку? Тут он почувствовал на шее паучьи лапки демиурга и услышал шёпот: вот ты и попался, такие, как ты, должны уходить рано, чтобы не мешать мне, потому я и навлекаю на вас неистощимый страх перед старостью.

Сыпался дождь, небо было словно синяя джинсовая юбка, порванная в нескольких местах. За стеклом расплывалась ядовито-зелёная церковь — здание, снабжённое подсветкой, сигнализацией и парализатором, вмонтированным в алтарь.

Сегодня знакомый напомнил Т. о поэтессе Н., чья смерть уже три дня возмущала литературную общественность. Т. давно уже не читал стихов, выбросил из головы мистический бред и случайных идиотов и защитил докторскую по социологии, поэтому долго не мог понять, о ком идёт речь. Оказывается, Н. отказалась от своего либертарианского скептицизма. В день рождения ей выпала на таро десятка мечей, карта абсолютного предательства. Н. решила не дожидаться,

пока близкие в очередной раз кинут её на деньги, и выпила пачку фенотбарбитала. На её стене в «мордокниге» — прощальное: «Если без предательства никак не обойтись, лучше, если человек предаст себя сам».

«Когда она сообщила мне о результате гадания, — писал общий знакомый, — я счёл это шуткой. Н. никогда не наблюдалась у психиатра. Во всяком случае, раньше, когда неверие в Христа ещё не считалось тяжёлым неврозом».

В почтовом ящике Т. хранилось приглашение из американского университета и электронный авиабилет на завтра, умирать ему было ни к чему, и выйти из дома в эту ночь его заставила только ностальгия. Он перешёл улицу, поднял глаза — фигурка повешенного над куполом казалась галлюцинацией.

Надо было сделать это пятнадцать лет назад, с улыбкой подумал Т. Да ну, ответил кто-то, уничтожить светоловушку демиурга никогда не поздно, более того — именно сейчас она предстала перед нами в своём завершённом, почти совершенном виде, со всеми этими плафонами в асфальте и сусальным блеском наверху, восхитительно лишняя, настолько не вписывающаяся в ансамбль этого почти европейского города, что хочется растворить её в кислоте. Если бы все эти годы ты не обрабатывал ничтожную статистику, а учился делать бомбы и отключать сигнализацию, сейчас вся площадь превратилась бы в гром и блеск, десяток автомобилей свалился бы с моста в ледяную реку, и сам слепой создатель на мгновение прозрел бы, чтобы показать нам мир в его настоящем виде.

«Он прозреет на целую жизнь, если мы перестанем верить в него и выполнять свои глупые обещания», — неожиданно для себя произнёс Т. и повернул обратно. Если бы его через пару секунд не сбила машина, он бы успел порадоваться своей мудрости и умению бороться с непостижимым.

2010

## КНИГА 0

### I. Всё лучшее

Вчера возле почты снова увидел свисающую с дерева петлю. Жаль, что фотоаппарата с собой не было, а сотовый с хорошей камерой накануне сдал в починку. Очень удобно: старик, в очередной раз ужаснувшись мизерности пенсии, — выплаты уменьшились на двадцать пять процентов, зато появились скидки на похороны, — ступил за почтовый порог, и тут тебе счастливое решение всего. Сразу за тополями располагалась детская площадка. Дети носились и верещали, как обезьяны, которым засунули в задницы морских ежей. Никто из них не планировал удавиться.

Это нововведение на территории нашего эсклава было спровоцировано некой Z., бывшей преподавательницей музыки. Она была ещё не очень старой, лет шестидесяти. На приёме у чиновника, требующего то одну, то другую, то пятнадцатую справку для разрешения пустяковой процедуры, она не выдержала и перешла с понятного госслужащим канцелярита на язык, которого от пожилых небогатых людей никто не ожидает. Заявила ровно следующее: «Весь мир — это ёбанный поздний аборт. Всё лучшее кто-то украл. У нас нет в собственности даже виселицы». Чиновник был не намного младше Z., но это неважно. Его давно уже утомили

городские сумасшедшие, но он был человеком вежливым, из хорошей семьи, поэтому попробовал объяснить, что без нужных печатей всё равно ничего не получится, и что больным и пенсионерам и так положена льгота — вмонтированная в телефон камера наблюдения. Не всем старикам нравилось, что работник районной соцслужбы может увидеть их в неприятный момент, но ведь гораздо лучше, когда твоя смерть зафиксирована камерой, и не успеешь ты остынуть, как твою дверь бережно вскроют, изымут тебя и сожгут, никакого беспокойства для соседей и долгого разложения.

Впрочем, социальные работники — в основном, женщины, так как платили за это подглядывание мало, — нередко халтурили. Однажды я познакомился с J., самой молодой смотрительницей в центре. Она сказала: «Грустно, что моя подопечная старушка высохла, как гербарий. — Я понял, что J. — тонко чувствующая натура, и уже готов был влюбиться на пару часов. — Легла на постель и больше не двигалась, — продолжала J., — посмотреть не на что. Вот предыдущую съели пять кошек, медленно, по частям. Сначала они встали по разным углам её тела, образуя подобие пентаграммы — её чёрный, чёрный, белый, рыжий и серый лучи. Съели не целиком, — спохватилась она, — я на третий день связалась с МЧС, а начальнику сказала, что у меня ПМС, и я очень рассеянной в эти дни становлюсь. Он ультраконсерватор, верит во всякую допотопную чушь типа врождённого женского любопытства, и мы этим пользуемся. Кто его только не обманывал. Он бы всех нас выгнал, но мужчины же на такую зарплату не пойдут. А на старух начальнику плевать, так что историю замяли.

И что, спрашивается, диссиденты скандалят, когда видео со смертью попадает в сеть? Это раньше был общедоступный ютьюб, а сейчас такие ролики, не заплатив, не откроешь. И я выкладывала их просто для удовольствия, а не как

некоторые, заключившие контракт на двадцать процентов дохода от просмотров. Я понятия не имела об этом контракте, пока мне не сказали». — Да, J. была тонкой, поэтичной и, главное, бескорыстной натурой.

Так вот, учительница музыки. Она словно не понимала, что всего через двенадцать лет будет обеспечена бесплатной видеокамерой, а если ещё через пять лет уговорит пятерых знакомых проголосовать за «Единый Эсклав», получит двенадцатипроцентную скидку на кремацию. «Что вас не устраивает?» — пожал плечами чиновник и закрылся на обед.

В бильярдном клубе он поведал эту историю племяннику губернатора. Это был весёлый и дружелюбный парень. «Виселицы? В собственность? — расхохотался он. — Бабки совсем деньгам цену не знают. Виселицы надо строить. Оплачивать работу плотников, петельщиков, юристов, наконец. Где они хотят, чтобы им взяли столько баксов? На деревьях — пожалуйста, будет, с официальным разрешением: человек имеет право принародно распорядиться собственной жизнью».

Говорят, некоторые депутаты колебались: вдруг в петлю залезет ребёнок. Хотя ещё исследования Стросса-Штольца (2035 г.) подтверждают: у детей малоимущих заниженная склонность к суициду и высокий болевой порог.

J. сказала, что власть имущие просто хотят сэкономить на мобильных видеокамерах. Социальный центр располагался через два дома от почты, снять и забрать трупы — пара пустяков.

В подвале одного из этих домов сидел сапожник. Стены его подсобки были облеплены красочными стикерами и агитками на русском и английском языках: «Иисус — это кайф», «Благословенна подошва евангелиста», и т. д., и т. п.

ЗАО РПЦ, как известно, обанкротилось. Городу грозило второе пришествие необаптистов и дзен-террористов.

Биография сапожника не отличалась оригинальностью: подсел на первитин, вылечился благодаря секте Новое Направление (головной офис — в Хельсинки) и оклеил новое рабочее место белибердой. Старики ходили к нему чинить по дешёвке обувь. Я как-то обращался в эту лавочку, просто было по пути. Обрюзгшая седая овца в очереди, услышав, сколько запросили за ремонт, заявила мне, что легче другие ботинки купить. Надо было промолчать, но я сказал, что не легче, назвал ей цену своих ботинок и добавил: «На рынке продаётся подделка с таким же ярлыком — разваливается месяца через три». «Я бы за такие и тысячи не дала!» — возмутилась овца, а две другие посмотрели на меня в упор, их светло-серые глаза в красных прожилках мгновенно выцвели до белой металлической ненависти. Да, такие люди совсем не знают цену деньгам.

Никто особо не следил за старческими соборщицами, всем было некогда и плевать, а зря. Телефоны с камерами включались на время проповеди, и никто не мог принудить бабушек включить их обратно, у нас же свободная страна. Мы не знаем, что именно пообещал молодой сапожник своей невзрачной пастве. Удивительно: старики не уважают и не понимают младших, но стоит проникновенным тоном выдать дежурный набор тривиальностей об Иисусе Христе, как седое стадо поспешит за тобой, стуча палками и костылями.

Мы также не знаем, что стало с паствой потом. Необаптист, подобно крысолову из Гаммельна, около одиннадцати вечера повёл стариков вниз по мосту. Было бы логично, если бы психопат пообещал им некое «истинное» двойное крещение, освобождающее не только от прошлых, но и от будущих грехов, и пенсионеры, не выдержав погружения,



захлебнулись бы, но этим у нас занимается неоматриархальная Церковь Живой Марии. Выяснилось, что на острове во дворе стариков ждал автобус; так они и пропали.

Возможно, секта Новое Направление сотрудничала с пищевыми магнатами. В пельмени у нас обычно кладут ушину, брюшину и костную муку. Сапожник обеспечил населению целый автобус костной муки, одновременно и выполнив, и нарушив заповедь о добродетельности. Или какому-то предприятию понадобились дешёвые работники, способные заниматься мелкой рутинной, не дёргаясь и не задавая лишних вопросов, пока не умрут.

Таким образом, пенсионеры нанесли государству ущерб и свели на нет гуманистические затраты по изготовлению и развешиванию петель на территории Западно-Прегельского округа. Некоторых ещё не устраивало, что под деревьями нет скамеек, а социальные работники не помогают инвалидам забраться повыше. Как будто не ясно: скамейки растащат дети и убьют ими друг друга. В конце концов, не можешь повеситься — не вешайся, значит, такая у тебя судьба.

Кстати, на днях меня остановили и предупредили: если я и дальше буду работать по фрилансу, то не заслужу бесплатную петлю и двенадцатипроцентную скидку. Полицейская барышня просмотрела мою не обновлявшуюся уже три года трудовую карту и осведомилась: «Вы же не думаете, что вам совсем никак не придётся умереть?»

## **II. Отруби для подрастающей мрази**

Так покойный отец Кристины называл денежные подачки. Он умер, испортив дочери карьеру лгуны: будь папаша обычным человеком, можно было бы соврать однокурсникам, что он романтично разбился в автокатастрофе или

погиб, защищая дюжину крашенных блондинок от тысячи чертей, так ведь нет — совладелец торговой сети «Dead Mary Krauze» нажрался виски и утонул в ванне. Мать умерла ещё раньше, незадолго после развода. Мало кому в жизни так везёт. У всех нормальных людей либо мать-одиночка, либо полный комплект домашних садистов, либо попустительство и нищесбродский карнавал.

Кристине исполнилось восемнадцать, и её вызвал для серьёзной беседы человек в сером. (Он хотел слегка замаскироваться, поскольку приличные люди научились его опознавать, но в нарядном дорогом костюме он в этом городе слишком бросался в глаза, а чёрное вызывало у обывателей неприятные ассоциации.) Как приумножить или, по крайней мере, сохранить состояние, как сделать, чтобы оно не перешло к подонкам-родственникам, как заполнить на компьютере бланк, не перепутав стозначные цифры, — попробуйте решить эти проблемы в восемнадцать лет.

Разговор должен был состояться в семейном склепе, который отец основал на противоположном конце города. Кристина выпила с утра полбутылки мартини и назвала таксисту неправильный адрес. В результате он остановился возле библиотеки бумажных книг, поросшей мхом и плющом. Даже забавно, подумала Кристина, если эту развалину потом выкупить под кладбище или БДСМ-клуб. «Так мы едем или нет?» — окликнул её таксист. «Возьмите пять долларов, — сказала Кристина, — я буду пять минут думать, а вы постойте». Но ни одной внятной мысли не возникло, и девушке показалось, что вместо головы у неё вмятина, медленно заполняющаяся дождевой водой.

Вахтёр долго не пропускал Кристину в помещение, зачем-то требуя медицинскую карту, а Кристина полчаса не могла вспомнить пароль от неё. Наконец железные двери разъехались в разные стороны, и девушка прошла в комнату,

обшитую ясеневыми панелями, — скорее, гостиничный холл, чем колумбарий. Издали памятник напоминал массивный письменный стол; урна выдвигалась из ящика после набора контрольных цифр, который Кристина тоже чуть не забыла.

«Да, прах богатого должен храниться под крышей», — сказал у неё за спиной человек в сером. Он вышел из единственного в здании кабинета, где было разрешено курить. Совсем обычная цыпочка, отметил человек в сером, ухоженная, но ничего из ряда вон.

Говорят, их беседа не была записана: это был единственный кабинет, в котором разрешалось не ставить прослушку. Мы знаем, как всё происходило, в общих чертах, расплывающихся и тающих, подобно опаловому блеску на шее голубя.

Кристина получала кучу денег без всяких проволочек и формальностей, и эти деньги должны были неспешно, без всяких усилий с её стороны, подрастать, при условии, что она будет «сексуально» одеваться и вести крайне распушенный образ жизни. «Можете продолжать учёбу, — сказал человек в сером, — зная, чья вы дочь, профессора будут вас тянуть из последних сил. Можете бросить. Время у вас есть».

В те годы ужасное ретро начала десятих опять вошло в моду. Кристина представила себя в гротескных туфлях на шпильке, которые целый день нельзя снимать, и оклеенной стразами кофточке из двух полос розовой материи — и зажмурилась. Ретро-манеры, выдаваемые за канон обольстительности, напоминали ей замедленную съёмку обезьяньих ужимок.

«Ну что вы, — попытался успокоить её собеседник, — вам разве действительно нравится одеваться... как это теперь называют — в годы моей молодости называли: «как ботаничка»? Это ещё хуже, чем tomboy style». «Но мне это не

мешает», — с нажимом проговорила Кристина. Человек в сером сделал паузу. «Понимаете ли, чтобы цифры повысились, непременно нужно поменять себя. Вам проще: «себя» у вас почти нет. На пустой полке вашей головы только пыль и чужая записная книжка». — Мало кто, общаясь с богатыми, строит собственную фразу, а не озвучивает шаблоны делопроизводства, и на странные слова богатых можно приманить, потом приручить, съесть. Мы слышали, что и это — ложь, пущенная богатыми по нашему ограниченному кругу.

«Не могу постичь, как это — быть молодым и не хотеть марочных вин и кокаина, — продолжал человек в сером. — Для чего вам тогда деньги? На приобретение личного ашрама в Гималаях? Но вас же это не интересует». — Кристина и сама плохо соображала, для чего, просто её воспитали в ожидании надёжности, гарантий, долговременных и доверительных отношений с финансами.

Через год жёлтые интернет-порталы и последняя жёлтая бумажная газета, которая в нашем эсклаве выходит с сиреневыми заголовками, в изобилии публиковали отчёты о безобразном поведении Кристины в клубах, на дороге и ночью на улице. Конечно, ей многое прощали: она просто радовала глаз. Она не была роскошной крашеной блондинкой или богемной брюнеткой с запущенным снобизмом — чуть ли не каждая могла стать похожей на неё. Девочки из общежитий чуть не плакали, когда видели в новостях её прямые каштановые волосы и маловыразительное восковое личико. Можно подумать, такие не привлекают мужчин? Странно, ведь мужчины сплошь и рядом призывают женщин быть проще.

Ночью на тридцать первое мая прошлого года полицейские застали Кристину в машину сразу с двумя нарушителями правопорядка. Была это её серая «Audi» или автомобиль

кого-то из клубных дураков, мы не помним. Лейтенант, вроде бы, сказал, что групповой секс на заднем сиденье допустим, но уж точно не на этой улице. Мимо проносились машины, сверкающие, как спутники в чёрном небе. А одна из них перевернулась и упала, совсем как звезда, вниз, в реку. «Вы оштрафованы!» — заорал лейтенант.

Это был цивилизованный Центральный район, здесь штраф государству можно выплачивать карточкой «Visa» в ментовском мини-банкомате. Поэтому от молодых людей вскоре отстали. Второй парень куда-то проебался, и через пару часов Кристина очнулась в ванной чужой, не слишком презентабельной квартиры.

Как же ей было плохо. Она десять раз умылась ледяной водой и на несколько секунд уснула стоя возле раковины. Зеркало показало ей глаза цвета плесневелого хлеба и коричневую солому волос. Кристина вспомнила всех, кому нахамила за год, а из-за тех, кого не вспомнила, ей стало ещё хуже.

Хозяин квартиры долго ждал за дверью, затем постучался и спросил: «Ты в порядке?» «Ты не представляешь, как мне стыдно», — сказала Кристина, когда он на руках вынес её из кафельного холода. «Отчего же, — ответил он, — представляю». «Это не из-за секса, а из-за хамства и пьянства. Секс — это не аморально, если его правильно обставишь». «Ага», — равнодушно ответил он и закурил. На экране ноутбука отражалась страница со стихами поэта, не изучаемого в школе.

«Я тоже когда-то сочиняла, — устало сказала Кристина, потому что надо было что-то сказать. —

...на заборе написано «кризис», в паспорте буквы хуйни  
одиннадцатый господь режет кожу мою на ремни  
режет волосы на канаты, чеканит внутри шем-тов  
я думал, забудется, как подарок, а это чернеет, как шов

по каждому, кто уличён, ползут ледяные швы  
и меня вмуровали в пустую соль, и вверх голоса травы».

Парень удивлённо взглянул на неё.

«Мне тогда семнадцать лет было, — пояснила Кристина, — кто в семнадцать лет не писал ерунду? За два года меняется кожа, и я уже так не хочу».

«А почему от мужского имени?» — спросил он.

«Не от мужского, — уточнила она. — От ничьего».

Парень оказался музыкантом-авангардистом из сомнительной семьи, и они говорили до самого похабно-яркого ультрамаринового рассвета. Кристина вспомнила, что даже читала Иоганна Пауля Рихтера на немецком, пока всё не начало разъезжаться по швам. Генон сказал бы, увидев их, что у этих людей вероятное родство на примордиальной стадии, но мы такими словами только ругаемся и вдобавок знаем об относительности любого родства. Кристина подумала, что надо бы позже рассказать ему о контракте с человеком в сером, иначе он не поймёт, и расторгнуть этот контракт. Но как, тут же спохватилась она, можно расторгнуть то, что заключено до нулевого числа? Это как отношения — или навсегда, или до того момента, пока тебе не надоело. И если тебе надоело, тебя ничто уже не спасёт.

Два дня Кристина прожила в этой квартире, а когда выходные закончились и её возлюбленный ушёл на работу, она случайно обнаружила в его шкафу серый костюм, точь-в-точь как у заимодавца, и поняла, что денег на этот раз не будет, но она снова будет бесконечно что-то должна.

Мы слышали, что Кристина приобрела ашрам в Гималаях, но ведь денег у неё больше нет. На самом деле это дацан в Бурятии — не в её собственности, чужой, но чужое солнце отбеливает серое быстрее, говорят нам. Мы не верим: должно быть, у аборигенов другая смысловая палитра, ибо

существует настолько глубокое серое, что не выцветает и от чёрного солнца.

Библиотека, между тем, окончательно уподобилась нищему кладбищу, а Н. рассказывает, что Кристина живёт в Москве с молчаливой корейской-буддисткой, не любит кафе и боится машин, и это больше похоже на правду (какой бы неуместной правда ни казалась сейчас).

### III. Резьба по воде

К тридцати годам В. научилась постоянно читать не то. Ей за это ничего не было, вот обсчитываться — это уже ведёт к финансовым и прочим потерям, и понимание сего ещё больше утверждало В. в мысли, что она занимается делом безнадежным, как резьба по воде.

Сидя в пиццерии, В. прочла в меню: «...с добавлением свежих гробов». Неужели её так раздражали безобидные глянцевые картинки, что подсознание то и дело искажало подписи к ним? Или на этот раз дала о себе знать тщательно скрываемая танатофилия? Да и может ли не быть танатофилом человек, который сам по себе — частный случай Вальзера? Адепт языка настолько запутанного, что стыдится и мечтает то упростить, то зашифровать.

Потом В. открыла другую страницу отказа: в мире электронных копий любые слова немыслимо легко уничтожить, они хрупче и непонятней аккадских таблиц. Только устная память и чеканка на камне может что-то сохранить. Зачем писать романы, когда люди способны веками помнить лишь восемь-двенадцать строк или сокращённую версию?

А. считала, что вечны не гениальные фрагменты, а хуйня. Однажды утром она машинально переключала каналы и попала на глупый семейный сериал. В., чей рекорд по

игнорированию ТВ побили разве что сибирские старообрядцы, устало произнесла: «Что, эта дрянь всё ещё идёт?» А. устало отозвалась: «Дрянь вечна».

Вообще, странно, что В., человека не слишком тщеславного, интересовал вопрос вечности собственной макулатуры. Но ведь в чём-то человек должен быть тщеславным.

А. была одной из немногих успешных женщин-программистов города, и В., наблюдая за тем, как она пишет код, думала: как может объёмная картинка возникать из формулы? Если бы художественные книги можно было свести к уравнениям, на которые достаточно взглянуть, и перед глазами сразу возникает весь сюжет и все стилистические особенности. Арсенал же литераторов настолько несовершенен, что для целостного впечатления часто не хватает и пятисот страниц. В. хотелось бы написать книгу с нолём на каждой странице, и чтобы внутри каждого ноля размещался новый текст. Посторонний, привыкший к сентиментальному мещанству с «бытовыми деталями и тёплыми, яркими красками», или любитель потоков крови и спермы не должен был там ничего прочесть. Если из обычных текстов гилик вычитывал что-то глупое, то здесь он смог бы увидеть только цифру в середине страницы. «Всё уже избретено, ты догадываешься о некоторых нюансах языков программирования, но рассуждаешь о них, как полный дилетант», — говорила А., и чем больше она говорила, тем больше В. молчала. А. выбрала её, когда устала от истеричек, но теперь задумывалась, не найти ли взамен молоденькую девушку с подвижным лицом. У В. было гладкое лицо, без морщин, и ничего не выражающее, как отшлифованная металлическая таблица, с которой стерли все знаки.

В. было стыдно, что она ни черта не зарабатывает, только халтурит, и она скачала пособие по SQL, вдруг что-то полу-



чится, но вместо «реляционная теория» прочла «реляционная терапия», и дальше пошло по накатанной.

Для отца В., оставшегося в чёрном доме близ лесополосы, литература была непотребством вроде венерической болезни. Психотерапевт сказал, что в случае В. срабатывает заложенная неверным воспитанием установка, которую надо выбить из-под ног, как табуретку — висельнику, и В. поняла, что этот психотерапевт сам нуждается в поддержке.

Табуретка, петля, пустота, ни слова. А. была очень милой и умела себя вести даже с человеком, которому лень делать всё, кроме уборки. В. так тщательно вытирала поверхности, что, казалось, она мечтает наглотаться пыли и задохнуться — лучше сплошная пыль в лёгких, чем пустота в голове. Ещё В. ошибалась дверьми, путала номера машин и, несмотря на отличное зрение, не различала оттенки цветов. Ну, и другие мелкие диагнозы, способные любого человека избавить от клейма «glamour», «casual» или «successful».

В понедельник А. сказала, что её вызвали в командировку. В. только что вернулась с поэтического вечера и пошла умыться; на полотенце в ванной были следы туши. Ни А., ни В. почти не красились. Изменникам нужны чёрные полотенца, подумала В. — во-первых, конспирация; во-вторых, подобие чёрного знамени, символа вседозволенности и беспредела. Людям требуется отдыхать друг от друга, подумала она через минуту, это как зелёное яблоко грызть, не сладко, но полезно. А. уехала на конгресс программистов, или как там это называлось.

В. читала её письмо, не похожее на предыдущие:

«Здравствуй, радость моя.

Сегодня приснилось, будто у меня седина. (Ничего, кстати, нет на самом деле.) Ностальгически напомнило детство: седые волосы у меня появились в семь лет, когда я чуть не

умерла от пневмонии, потом выпали. С детьми такое бывает. С тех пор я знаю, какая голова у меня будет в старости. Мне хотелось серо-стальную, какая, говорят, бывает у очень решительных людей, но если я доживу, буду ярко-белой, словно кокаин. Я в юности видела старую женщину с такими же, ненормально белыми, волосами и поймала себя на мысли, что ей может быть неприятно, что я так долго смотрю на неё. Помнишь, ты читала у какой-то Дорис Лессинг: постарев, становишься невидимкой, и тебя наконец-то больше не отвлекают пристальные взгляды на улице? Похоже, я буду притягивать такие взгляды всю жизнь. Как мне это надоело, блядь.....

Когда я ставлю пять точек, это не безграмотность и не глюк клавиатуры, а просто более долгая пауза. Как у тебя дела?»

Ну, что тебе ответить, подумала В., что я не пью, курю и пишу по абзацу в час? Она вспомнила словосочетание «Дорис Лессинг», язвительно добавила В., это же надо — после своей фантастики в мягкой обложке, после своих газет. Отвечать не понадобилось: А. сбил пьяный водитель за день до её возвращения.

Некоторых критиков — мы забыли отметить, что В. довольно часто публиковалась, графофобия вообще-то характерный признак профессионализма, — занимало, почему В. бросила писать. Кто-то не верил, что по-настоящему бросила, такое недоверие считается в наших кругах хорошим тоном. Болезненное пристрастие к письму у исписавшегося — пожалуйста, это примут и простят, но не наоборот. Кто-то полагал, что у В. жёсткий диск забит рукописями, просто она ломается и кокетничает (следует помнить, что настоящие дайки так себя не ведут).

В. дописала не законченный подругой код на SQL, вскоре дела её пошли неплохо, и она даже заработала на вторую квартиру, потому что, как раньше, жить у А. и сдавать пер-

вую квартиру было уже нельзя: гей-браки тогда ещё были запрещены, и жильё по закону отходило дальним незнакомым родственникам погибшей. Многие думают, что бросить литературу В. заставила исключительно меркантильность. Мы же не воспринимаем эту причину всерьёз. Как сказала сама В., «это даже не обмен голосами, который произошёл бы и в случае, если бы она осталась жива. Иногда я прикидываю: вот если бы она любила меня так сильно, что шагнула на проезжую часть, чтобы у меня появился стимул избавиться от поганого русского языка, писать сейчас на котором — всё равно что на латыни, с той разницей, что латынь в своё время числилась классом выше. Но это была просто симпатия, а потом — просто случайность». В. — одна из лучших женщин-кодеров русскоязычного Запада. В её вьющихся волосах — серо-стальная прядка.

#### IV. Боязнь пустых комнат

Он говорил: «М. — единственная, кому с похмелья хочется мороженого».

Лёгкое-лёгкое поле. Как будто можно оторвать его верхний пласт от нижней земли. Если поднять глаза, дальше за ним то, что осталось от Нойхофа.

М. двадцать два года, она худая, очень красивая, в чёрном льняном платье-casual, её спутник многого о ней не знает. Чиновники РПЦ обещали реставрацию поместья и часовни, но их клятвы даже в 2012 году выглядели не правдоподобнее пророчества о втором пришествии Христа. Православный шофёр и православная кондукторша из соседнего посёлка растащили полстены на хозяйственные нужды. Мы видим подобие ворот, подобие арки, подобие истории.

«В конце девятнадцатого века графиня фон \*\*\*, известная в узких кругах скандальным нравом, приняла католичество. Это вызвало сдержанную неприязнь арендаторов, и в результате и без того обедневший род окончательно разорился, а дальше началась первая мировая — в общем, наследников теперь не сыскать. Ходили слухи, что на самом деле всё было ещё проще. Ранней весной 186. года ливень размыл дороги, соединяющие поместье с внешним миром, и племянник графини не смог вернуться в Кёнигсберг, как собирался. Сейчас земля немного высохла, а когда-то здесь было адское болото хуже Кнайпхофа. Племянник графини и его шестнадцатилетняя сестра были сиротами, которых эта дура взяла на воспитание. Сестра выросла в уединении и не усвоила никакие нормы морали: единственным примером для неё была тётя, которая говорила одно, а делала другое. Сохранился портрет этой девушки — скорее, польского, чем немецкого типа брюнетка, её звали Ильзе, и это единственное имя, которое удалось запомнить из всей басни. Итак, они остались втроём на тот период времени, пока ливень не позволял им выходить наружу, и общение брата и сестры закончилось кровосмесительной связью, в которую вмешалась тётка. Она тоже влюбилась в племянника. Он был мальчик совестливый, выпускник университета и духовный предшественник Георга Тракля — если ты помнишь это хрестоматийное «Прости, Мария, нас», — поэтому то ли утопился в Ангеррапе, то ли застрелился на берегу. Возможно, ревнивая графиня пригрозила лишить его наследства, если он не отстанет от сестры. Тракль, по крайней мере, имел полезную профессию фармацевта, а этого, наверно, без наследства даже в аптеку не взяли бы. Или тётка оказалась лучше в постели, чем сестра, но сестру было жалко, да и с головой у всего семейства были проблемы. В общем, браки

между кузенами в Нойхофе поощрялись, но никто не решался на более радикальный шаг.

Ильзе приняла католичество и ушла в монастырь. Слухи дошли до мелких лютеранских буржуа, и они устроили графине бойкот. Но я не исключаю, что всё это придумал какой-нибудь местный мистификатор.

М., — говорит он дальше, — ты бы закрепила волосы лаком, ветер их совсем растрепал. Почему ты не делаешь то, это, вот это?»

«Растрепал, — спокойно отвечает М., — ну и что, а лак вреден, и меня устраивают мои волосы такими, какие есть. — Они иссиня-чёрные и выдают в М. не польку, как можно судить по фамилии, а еврейку с сефардскими корнями. — Почему ты сам не уложишься гелем?» «Но я не женщина, — уверенно говорит он. — Женщина — это произведение искусства». Тот, другой, этого никогда не сказал бы.

М., вернувшись домой, набирает полузабытую строфу в поисковике. Она выводит её на русский сайт экспрессиониста, сработанный очень грубо: рекламные ссылки размещены прямо в тексте. «Настало время посмертной славы и поэтического бессмертия металлопрокат металлопрокат».

М. перебралась в наш болотистый край по любви к лёгкой учёбе и бесплатному жилью. Раньше тут жил её отец. Первая жена забрала его, подающего надежды поэта, из нехорошего городка, родила С., а через пять лет выгнала поэта за глупость и пьянство. Отец вернулся в городок, где его подобрала вторая жена, с которой он тоже развёлся. Потом мать С. умерла от химиотерапии, и в квартире стало шумно и муторно. Мальчики с книгами Свободного марксистского издательства в холщовых сумках, девочки с пирсингом и разноцветными волосами. На серьёзную акцию почему-то никто не решался. Местный антиклерикал однажды сострил:

«Что, анархисты — самые метеозависимые в области? Им одним первого мая выйти с флагом на площадь дождь помешал».

«Ты ни хрена не делаешь, — сказал С. приятель. С. моделировал форум за деньги. Как раз в этот момент вылезло сообщение идиота: «как вы относитесь к оскорблениям правительства на этом сайте? что это за свобода права быть скотом?» — и С. только махнул рукой. — У тебя вся помощь другим — на словах. Вот твоя сестра, М., ей семнадцать лет, и она живёт в мухоедске, и ты с ней в детстве даже общался. Нет чтобы узнать, как у неё дела, ей же поступать куда-то надо, жилья нет, мать — бюджетница».

С., закуривая на ходу, пошёл на балкон.

«У тебя элитаристское сознание, — бросил ему вслед приятель. — Ты употребляешь определение «быдло», а народ можно называть «реднек».

«Это чтоб быдло не поняло, что его обозвали, и по шее не наваляло?» — обернулся С.

«Я же говорил, — обрадовался приятель, — чистейший элитаризм».

Мать была счастлива избавиться от М.: она выросла в странного и непонятного человека. То ли пошла в отца-еврея, с которым матери вообще не следовало связываться, то ли её сглазили. Мать пробовала водить дочь к целительнице, но плохая девочка с порога попросила экстрасенсорику доказать, что таро на самом деле нечто большее, нежели упрощённая архаическая семиотическая система.

С. (который был на шесть лет старше) встретил М. на вокзале. Она была очень бледной, куталась в плащ и тёмные волосы. С. не умел разговаривать с девочками из глубинки, и всю дорогу до универа — М. должна была подать докумен-

ты на филфак, — они молчали. Очкастые барышни в приёмной долго и пристально разглядывали М.

«Со мной что-то не так?» — поинтересовалась М., когда они покинули своды Альбертины, её стены, потрескавшиеся от сырости. «Ты сильно выделяешься, — сказал С. — А может, эти серые мышки тебе завидуют». «Я научилась иначе воспринимать оттенки серого, — сказала М. — От человека зависит. Кто-то как мышка, а у кого-то пепельные волосы почти светятся, и вспоминается — пепел волос твоих, Суламифь».

Цитата, как отметил бы любой мало-мальски образованный человек, была совсем о другом и не к месту, но С. не стал заострять на этом внимание. Он изумлённо взглянул на сестру. «Да, я знаю, кто такой Целан, — спокойно ответила она, — а что здесь особенного, ведь мне уже семнадцать лет?»

«Ну... это... я даже не знаю», — пробормотал С. (Характерно, что у М. не возникло мысли, что брат мог не опознать цитату и воспринять сказанное как бред сумасшедшего: она сразу увидела в нём своё подобие.)

«Да, на самом деле я вульгарная деревенская малолетка, — язвительно проговорила М., — я этого не читала, просто запомнила со слов одного умного мальчика. В быту я крашусь самой дешёвой косметикой и слушаю «Фабрику звёзд», а в поезде специально смыла цветную штукатурку, чтобы не испугать тебя, чтобы ты меня потом не прогнал. Ещё я ем руками и увешиваю комнату постерами из бабских журналов, скоро убедишься в этом сам».

Поразительно, подумал С., какой я мудака, как мне только пришло в голову, что моя сестра с самого рождения не чувствует тех же вещей, что и я.

Есть семьи, где братья и сёстры похожи, а есть, где нет. Но даже если все и в трёх поколениях подряд похожи, мы всё

равно сохраняем опасения: человеческая генетика — негодная машина, то и дело дающая сбой.

С. купил девочке приличного пива — хотелось её порадовать. Когда М. вышла из ванной в старом халате его матери — он был велик ей на три размера, — С. курил и стряхивал пепел в бутылку из-под «Цётлера», хотя рядом стояла пепельница.

«Я ничего не боюсь, — сказал он, — меня винтили менты, гопники пробовали уебать, а на такую херню, как потеря бабы или работы, мне вообще похуй. Но я не могу, когда за стеной кто-то бродит. — Раньше С. никому этого не говорил. — Я заставляю себя спать с выключенным светом, потому что запахло покупать успокоительное, как многие из наших. — М. не стала уточнять, кто такие «наши», но уж точно, подумалось ей, не одноимённая партия. — Здесь тени вязкие, как серый мармелад. Если бы они сгустились до фигур из камня, и не говорили, и разбились. Я помню, как они говорят». Сейчас С. был почти как отец на старой чёрно-белой фотографии. М. понимала, что происходит что-то не правильное, но и не страшное. «Не расстраивайся»; «Не пей столько, у тебя наутро голова заболит», — произнесли они одновременно.

У неё болела голова, и очень хотелось мороженого наутро.

Иногда С. забывал простейшие вещи. Просыпался и думал: мы живём не возле горной стремнины, не во время войны, не в мегаполисе, так откуда же берётся вокруг столько шума и грохота? Мир перенаселён, напоминал ему кто-нибудь, рашка — мусорная яма, тихо уже не будет; можешь попробовать уехать в деревню, там меньше дряни слышно, только там быстрее убьют.



С такой же лёгкостью он, когда выпивал, забывал о другом навязанном извне, всяких там нормах, например.

М. принадлежала к первому относительно свободному поколению, проблема двойной морали затронула её лишь косвенно. Девочки этой формации уже плохо понимали женщин, для которых случайные связи с годами стали предпочтительнее долгих отношений (на короткой дистанции у мужчины снижается возможность подчинить тебя). Но стереотип «обязательности любви» в сочетании с «обязательной невозможностью любви» было так же легко выдрать из её головы, как гвоздь из стены голыми руками.

М. ещё в отрочестве узнала из книг и рассказов отца, что мужчинам, способным проявлять хоть какие-то чувства, если и нужна любовь, то недостижимая. Приблизившись к живой женщине, они тут же разочаровываются и сбегают. Или к другой, ещё совсем чужой, или к своей внутренней Лилит. Типичный гетеросексуальный мужчина — это садонекрофил по Фромму. Феминистская литература помогла бы М. понять: подобное происходит из-за того, что патриархальная система навязывает всем нам образы несуществующих женщин, чтобы унижить настоящих, — но мамаша вбила М. в голову, что все сплошь феминистки — толстые лесбиянки и мужененавистницы.

Их роман с братом затянулся именно из-за желания М. осуществить невозможный для мужчины сценарий, грубо говоря, поиметь власть над другим хотя бы таким, запрещённым, способом. Родная сестра одновременно реальная и недостижимая, живая и мёртвая. Значит, интерес к ней не пропадает.

М. забыла, что надо молчать об огласке, лишь случайно, когда открыла дневник мрачной поэтессы-еврейки, активно тусующейся с русскими националистами, и прочла: «если бы я не была childfree, то завела бы ребёнка специально для

того, чтобы через двадцать лет шокировать мешан сожигательством с ним». Это взбесило М.: «Какая-то фашня, значит, мечтает афишировать, а мы, либертарики, должны скрывать». «Ну, послушай, — устало отозвался С., — это же просто эпатаж, так говорят те, кто подобного в жизни не сделает, а кто сделал — обычно молчит: людей и за меньшее убивают».

«Можно уехать отсюда», — сказала М. и хотела добавить: «Когда я закончу учёбу», — но до окончания учёбы оставалось три года, не надо загадывать так далеко. С. промолчал. В столичных левацких кругах допускалось и не такое, и все всё знали, только не разглашали «среди чужих». Но С. там не ждали: терпимость антифашистов из хороших московских семей распространяется на мусульманских фанатиков, на идеологических врагов из хороших московских семей, на бомжей и эков, но уж точно не на провинциальных анархистов, постоянно обвиняемых в элитаризме — разгадка же «элитаризма» проста: в провинции шансы столкнуться с невменяемым быдлом десятикратно возрастают, а ебанутая среда не мешает развитию толерантности только в хрустальных мечтах барышень, обучающихся изящной английской словесности в Бостоне или Нью-Йорке.

«Сколько можно выдумывать несуществующих любовниц? — спросила М. — Наверняка некоторые твои знакомые уже что-то заподозрили». В присутствии знакомых М. сматывалась в тень и читала книжку с монитора, но кто его знает, кто знает. «Я потом подумаю об этом», — ответил брат. Потом — дня через два или три — в квартире появилась Т. Приехала сюда поизучать местную оппозицию.

Приличная мышка, подумала М. снисходительно. Т. уведомляла, что красится, чтобы казаться старше, а то её не воспринимают всерьёз. М. подумала, что встречала тридцатилетних женщин, выглядящих свежее двадцатипятилетней

Т., у которой уже проблёскивала первая седина, лоб прорезали морщинки, кожа начала отвисать. Только отсутствие груди роднило Т. с не воспринимаемыми всерьёз подростками. Никакой лиловый маникюр и сложноплетённые серьги не делали её ярче. Впрочем, если присмотреться, можно было заметить своеобразную миловидность, и уж лучше Т., чем совершенно неухоженные московские феминистки, считающие диету и выравнивание зубов брекетами оскорблением женского достоинства.

Т. была православной мистической анархисткой и очень хотела замуж. Хоть за атеиста. Хоть за говнаря, потому что сама слушала «Наше радио». Хоть за педофила — Т. надеялась, что его привлечёт нулевой размер груди.

На ней был вполне эстетичный сарафан в чёрный цветочек.

«Ты молодец, конечно, — говорила она С. в прихожей, — это доблесть такая шопиздец, — говорила она, проскальзывая в кухню, — украсть мыло и сардины в супермаркете. Ведь у тебя же потом будут дети. Ты им привьёшь, что нужно воровать?» С. подумал, почему до него все докапываются, а он всё оправдывается, крайний он, что ли. За него ответила М.:

«А разве анархисты против шоплифтинга?»

«Вы так хорошо разбираетесь в анархизме? — вскинулась Т. — И что вы, собственно, сделали для революции? Пил уксус? Крокодилов ел?»

Сама Т. целых два раза участвовала в разрешённых пикетах, а один раз убегала от нацболов тёмными-тёмными дворами.

«Я просто спросила, — кротко ответила М. — Я не строго левая и не строго правая, но приветствовать этот режим не могу. Везде пишут, что анархисты против несправедливого повышения цен и капиталистической экономики». «Я хри-

стианка», — с нажимом произнесла Т., и над её головой очертился пахнущий аптечным хлопковым мылом нимб.

Вскоре С. спланировал дикую акцию. С двумя соратниками зашёл в белую площадную церковь с петлёй на шее. Это символизировало самоубийственность православного мракобесия. Друзья, вставши одесную и ошую, разрезали петлю острыми ножницами, что символизировало... и т. д., и т. п. Вывод ментов был прост, сух, однозначен: пятнадцать суток за хулиганство, а дальше посмотрим. Шеф, прочитав в интернете новость, решил уволить С.: какому portalу нужен такой модератор?

Помочь могла только взятка чиновнику или попу. У одних товарищей не было денег, другим казалась абсурдной сама идея платить чернорясам, против маразма которых была направлена акция, третьим казалась абсурдной акция. Лишь Т. уладила ситуацию. Ходили слухи, что её родственник работал в православном издательстве и мог отрецензировать графоманскую книжицу настоятеля белой церкви. Ну, и деньги у Т. водились, она даже какое-то время училась в Америке, как половина порядочных московских левых.

У М. денег не было. Мать высылала ей копейки, вот и весь доход, не считая фриланс-переводов. Когда акционист вернулся домой, Т. заявила, что негодной сестре похуй на брата. С. попробовал помирить девушек, точнее, успокоить Т., потому что сестра сидела молча, с отсутствующим лицом.

«Это же идиотизм какой-то, в смысле, аутизм, — окончательно сорвалась Т., — надо же настолько ничего не делать и ничего не понимать!»

«Не аутизм — это называется aloof personality, — медленно проговорила М., — а если бы аутизм, то что? Вы разве не пропагандируете толерантность к нейроотличным?» Т. прикусила губу. «Извини, — обратилась она к С., — я нервная сегодня, очень волновалась из-за тебя. Да ещё эта... у

меня великий пост, а она тут сидит и ест свинину, меня просто мутит».

«Вы не у себя дома, — так же медленно сказала М., — и потом, вы разве не пропагандируете толерантность к людям других взглядов?» Т. уставилась на неё с такой злобой, что акционисту на секунду захотелось надеть на соратницу намордник.

Нас что-то выдаёт, подумала М., эта истеричка всё чувствует, но сформулировать не может. Трудно сказать, что, но...

«Вы будете и дальше меня упрекать? Меня?!» — голос Т. зазвенел. По мыльному нимбу вокруг её головы шла чёткая надпись: «Я, христианка, спасла человека, совершившего надругательство над православным храмом, из сочувствия и терпимости. Молитесь за/на меня».

«Не ругайся с ней, — предупредил С., когда христианка ушла, — она такая милая».

Т. была его последним шансом зацепиться в Москве: С. не принадлежал к тем, кого всюду любят, кормят и селят, термин aloof personality характеризовал всю их «семью».

«Ты ведь понимаешь, — начал терпеливо объяснять С., — дальше так продолжаться не может. Я оставлю тебе квартиру, вторую комнату можешь сдать надёжному человеку и жить в своё удовольствие».

После двенадцати М. закурила, хотя не курила почти никогда. Поймала себя на мысли, что ждёт, когда услышит ничьи голоса за стеной. Хуже, когда ничего не слышишь, поняла она, морщась от головной боли. Ничего, кроме этих чёртовых молотков в левом виске и правом виске. Не надо было курить. Там действительно пусто. Он всё забрал с собой, к сестре не перешёл ни один голос.

Она заканчивала диплом, когда приехал знакомый троцкист. Вписаться в нашем эсклаве ему было больше не к кому. Как там С., спрашивал он. Обещал приехать на прошлогодние каникулы, но нашёл в Москве работу. Обещал приехать в этом году, но опять проблемы с ментами.

Мать Т. отказалась поселить его у себя дольше, чем на месяц, и они с Т. жили по впискам. В последней квартиреместились шестеро. Один скрывался от милиции после закрытия сквота. Предыдущая квартира принадлежала лесбиянкам. «Слово за слово», и С. примкнул к ЛГБТ-активистам.

Твой брат охуенен, сказал троцкист. Только, между нами, его эта психичка совсем достала. Нотации по любому поводу. С одной из лесбиянок она поссорилась. Потом пошла на мероприятие, там эта лесбиянка тоже должна была присутствовать. У Т. разрядился телефон, так С. всех знакомых на уши поднял: что случилось? Т. решила, что он переживал, как бы её за гордое держание плаката не уволокли, бедную, а на самом деле С. подумал, вдруг Т. отловила лесбиянку и что-нибудь с ней сделала, она может.

«Ревновать к лесбиянке?» — пожала плечами М. «Ну да, мужчинам же свойственно, это... пытаться переубедить, изменить, — усмехнулся троцкист, допивая водку, — подозреваю, С. и в гей-защитники попёрся частично для того, чтобы произвести на эту фемку впечатление. Впрочем, Т. же больная. Она и к тебе его ревновала. Он сказал: на М. легко оказать воздействие, она впечатлительная, может, ей и правда помстилось, что она в меня влюблена, я всегда беспокоился за её здоровье. А Т. (между нами): его типа нельзя к тебе пускать, чтобы не случилось греха. Эти христиане...»

«Этой весной еврейские колыбельные особенно мрачны: я слышал их в металлической обработке “Gevolt”, “Dibbukim” и одной тяжёлой израильской команды, забыл название, — будто Лавкрафт переписал Шолом-Алейхема. Будто нас готовят ко второй волне всеожжений, или наоборот те, кто уснул тогда, пробудились и разговаривают с нами с чужого голоса.

У тех, кто пришёл в толпу, колыбельных не бывает, пускай их усыпляет рекламный мусор.

Сегодня в банковской очереди думал, кого из них пощадил бы, окажись у меня автомат. Ради кого можно не взрывать этот оплот спекуляции? Рядом кучковались сплошные туши и морды. Потом вбежали две блондинки, несли визгливую чепуху, у одной расстегнулся рюкзак, и на серый мраморный пол упала карта № 13. Райдер — Уэйт. Характерно, что марсельская колода кажется таким существам антиэстетичной.

Я устало осмотрелся и увидел у соседнего окна красивую азиатку. На ней было что-то светло-бежевое, кремовое — ты же знаешь, я плохо запоминаю одежду. Она была совершенно спокойна, в очереди перед ней стояло около пятидесяти человек.

И я решил: вот тот самый праведник. Чужой и такой невозмутимый. «Свои» в этой стране всё испохабили именно своим равнодушием, нам нужен холодный взгляд со стороны, ничей взгляд. Только не говори, что азиаты тоже все на одно лицо: их общее лицо — немного другое.

Помнишь, когда-то я боялся, что из соседней комнаты кто-то выйдет? Теперь все прилегающие помещения намертво забиты. Я бы даже вернул на минуту этот страх пустоты, он связан с интересом, детским любопытством: а что там, за перегородкой? Сейчас я точно знаю, что там — мразь, здесь — мразь, а сверху — серое и расплывчатое. Я позвоню в субботу».

Дети глупы и трусливы, подумала М. Как можно идеализировать их страх перед познанием?

«Рецептариус<sup>5</sup>, какое красивое слово. Я бы не отказался от такой профессии только из-за названия, а ещё можно обучиться приготовлению ядов.

А этот дурак травил только себя, как все поэты. Я бы травил буржуев. Т. передаёт тебе привет».

Право свободы быть скотом допустить нельзя, думал хронический алкоголик, капитан в отставке и активный участник главного городского форума. После того, как С. его забанил, алкоголик старался отслеживать все движения бывшего модератора. Этот подонок перебрался в Москву, скорешился с пидарасами сиречь толпой врагов алкоголика, теперь планирует навестить родину. Отлично.

На следующий день в журнале С. появился пост: «Известный сумасшедший (имярек) угрожает мне расправой, на мобильный поступили sms гомофобского содержания. Почему я думаю, что (имярек)? Только что он написал мне в контакт примерно то же самое».

«Выяснить по номеру телефона, кто его владелец, дело несложное, — прокомментировал знакомый С. — А потом — в прокуратуру. Не забудь заскринить страницы».

Ему отвечал непрерывно пасущийся в журнале С. алкоголик:

«у меня тварь сим-карты пяти государств».

«Что это за милое животное? — поинтересовался знакомый С. — В каком зоомагазине их продают?»

«у меня польское гражданство ещё... а ты пидор меня доставляешь идиот... и в чехию я езжу уже 23 года скотина».

С. отставил чашку кофе и быстро напечатал:

<sup>5</sup> Должность рецептариуса некоторое время занимал поэт Георг Тракль, автор ранее процитированных стихов о любви брата и сестры.



«Это не животное, а мистический артефакт. Наподобие монеты с шестьюстами шестьюдесятью шестью сторонами».

До поезда оставалось двадцать три минуты.

Наступила суббота, троцкист вернулся в Москву. М. лениво скроллила анкеты на сайте знакомств. (Троцкисту она сказала, что брат зря переживал: она всегда предпочитала девушек.)

Анкеты были безграмотны и утомительны. «Со старухами старше 35 не знакомлюсь!!!» — писал дядька якобы 47 лет, выглядевший на все 65. Другой просил не писать ему толстых, бедных, заносчивых, шибко умных, больных, проблемных, гламурных, пишущих стихи, рассчитывающих на брак, живущих дальше Гвардейска и всех на свете. Ну, и прочие показательные подборки мужских комплексов, от которых сводит скулы и подкатывает тошнота. Девушки попадались все на одно лицо в унылой земфиро-снайперской рамочке. Внезапно М. отложила мышь, внимательнее всмотрелась в безграмотный экран.

«Тут пишу для некоторых баранов. Меня интересует только инцест. И как этого добиться. Остальные идите лесом, задолбали уже.

Пишите с кем был опыт или к кому интерес. Привет и всякая хрень мне не интересна. Не задавайте мне глупых вопросов, я не справочная.

**Кого я хочу найти:** Общение на разные темы. Есть опыт во многом. Семья в полном комплексе... Кто не дурак поймёт».

М. хотела посоветовать девочке искать инцестуальных собеседников на других ресурсах, но вовремя удержалась: нефиг писать для баранов. Тут пришло сообщение: «Привет...»

«...и всякая хрень, — мысленно продолжила М., — опять мужчины — видимо, придётся просить их всех на свете меня не беспокоить».

О, сука, сука, это — М. открыла фотографию в крупном масштабе, — был директор крупного предприятия, о господи, за что, здесь же полно гламурных блондинок и прочей необходимой ему для работы чепухи.

Ответила ему на второе сообщение. И отключила телефон.

Алкоголик набрал номер врага со своей пятой сим-карты. «М., — спросил С., — это ты?» — потому что номер М. не отвечал, а на вокзал она не пришла. На телефоне алкоголика была функция определения местонахождения собеседника. Значит, сука совсем близко, и уже совсем темно, можно успеть. Алкоголик, конечно, слегка зассал, но его не оставляла спасительная уверенность, что менты так же сильно ненавидят пидарасов, как он.

С. недолго постоял в парке и свернул во двор, так быстрее дойти до дома. Ещё две-три минуты, и никто бы ничего не успел.

Когда М. узнала о выстреле неизвестного, она не ощутила ничего, кроме огромного, не вмещающегося в её скромную комнату счастья. Так бывает счастлив человек, раз и навсегда избавленный от необходимости любить. Мы не говорим: «избавивший себя», потому что никакой вины за М., в сущности, нет. Не потому нет, что якобы женщина всегда права — мы в такое не верим, — а потому, что выстрелить мог кто угодно когда угодно, не забываем, в какой стране живём.

«М., — говорит директор крупного предприятия, — ты бы закрепила волосы лаком, ветер их совсем растрепал. Почему ты не делаешь то, это, вот это?»

Лёгкое, лёгкое поле. Как будто можно оторвать его верхний пласт от нижней земли. Нельзя.

*2011.*

## [КОРОТКИЕ ТЕКСТЫ]

### НЕ ШУМ

Дано: А — программист, Б — не программист.

Б. — Я разучился писать от руки, а машина мне мешает.

А. — Как мешает? Ты проверялся на вирусы?

Б. — Там нет вирусов. Просто она — машина.

А. [подумав] — Попробуй представить, что у тебя в компьютере шпионское программное оборудование, и кто-то в любую минуту может прочесть твой текст. Эта мысль заставит тебя писать от руки заново.

Б. — Одна фобия не лечится другой.

А. — Клин клином вышибают.

Б. — Это не клин. Это *машина*.

А. [молчит]

Б. — И да, если бы ты это кому-то другому посоветовал, он бы тебя потом к своему компьютеру больше не подпустил.

А. [молчит]

Б. [спокойно] — Всё равно все всё читают. Точнее, никто ничего не читает, потому что не умеют читать. И слушать не умеют: каждый второй без ущерба для нервов слушает попсу и блатняк — говорит, что это просто шум. А это не шум.

А. — Ты разучился что-то делать, и с тех пор тебе кажется, будто и другие разучились — слушать, там, или читать.

Б. — Они никогда не умели, а я умел.

А. — Ты в этом уверен?

Б. [молчит]

## БЕЗ МОЛОТКА

Если исполнительницы г'н'б никогда не вызывали у вас желания размозжить им головы молотком, вы не человек. Или ангел, или то, что любительницы арэнбишечки именуют: «бесчувственная скотина».

Надсадный вой и вихляющаяся жопа. Один националист сказал, что таким образом цветные мстят белым за Вагнера и плантации.

Один космополит возразил, что по заказу белых мужчин проплачен весь этот омерзительный бордель. И если цветных женщин оставить в покое, они создадут тысяча первую копию Ани Ди Франко.

Второй космополит сказал, что если Ани Ди Франко, то уж лучше бордель, и националист почувствовал себя не в своём подъезде и ушёл читать сайт стихи.ру.

## ТО, ЧТО ТЕБЯ УБИЛО, МЕНЯ ДАЖЕ НЕ СОСТАРИЛО

Фраза, которой ждут не мёртвые, но люди, любящие, когда их унижают. Они боятся чувствовать себя мёртвыми. Никто не оскорбит пустую оболочку, никакие зороастрийские похороны. Сила — это пустота. Некоторые из человеческих животных не выносят её. Внезапно ощутив себя сильным, существо тотчас же пытается вернуться обратно — оно *нарывается*. Бесконечно нарывается. Бесконечно возвращается к жизни.

Вот как всё обстоит снаружи.

Дымный бар. Z говорит: у Y обнаружили злокачественную опухоль, вытрясли кучу денег, а это оказалось обычное уплотнение. Я говорю: как знакомо — только я не платил.

В том году в том городе был жёлтый воздух. Автомобиль сбил девушку через две проезжие полосы от меня. Я зачем-то верил в бога, и мне показалось, что он поступил с ней справедливее, чем со мной. Этого бога я уже не помню: всё-таки прошло одиннадцать лет.

А где нашли, спрашивает Z, и я откидываю волосы и показываю на шею: примерно здесь. Нет, отвечает она, не здесь, а ниже — почти незаметный белый шрам. [От бога же не осталось и шрама.] Я не по-настоящему люблю смерть — то и дело забываю, где хранится добрая половина её подарков. Казалось, что люблю, а, выходит, просто недостаточно боюсь.

Дорогая Z, что бы я ни сказал тебе сегодня, ясно одно: тот, у кого столько пустоты внутри, никогда не отрастит настоящую опухоль. Я не знаю, как подарить тебе немного пустоты, чтобы ты стала спокойнее, а если бы и знал, остатки вежливости помешали бы мне её [незаметно] прирастить — ведь это чужое пространство, а если бы и стал невежлив, всё равно эта субстанция плохо прижилась бы: это как собственные волосы блёкнут и отмирают под наращенными.

У меня нет денег на кожаное пальто, как у тебя, вымотанно произносит она. Растрёпанные пряди падают ей на лицо, водка проливается.

Дорогая Z. Я бы подарил тебе своё второе пальто, но оно тебе велико — и мне, впрочем, стало тоже. Пусть висит где-нибудь или лежит; как похолодает, я его пристрою. Хотя в прошлый раз не удалось.

**ЧУЖИЕ СЛОВА, 1999 ГОД**

«Давай ты не будешь мне рассказывать, что я тварь». Так начинался мой разговор с Щ., проводником божьей воли, который лет через пять сторчался и начал писать в интернете непотребщину, а ещё через год его кто-то прирезал, но мне это было уже неинтересно.

Нет, возразил Щ., мама сказала, что каждый человек — божья тварь. Если не просто тварь, а божья, да ещё «мама сказала», значит, я должен был ему верить, но я чувствовал, что здесь кроется наёбка. Была весна восемьдесят третьего, мы учились во втором классе.

Ещё в тот день я отчётливо понял, что не люблю детей. Сверстники выглядели идиотами, а самые умные из них пытались говорить вещи, в которых крылась наёбка. Дома, в дальней неприбранной комнате, лежал Новый Завет моего двоюродного деда. Отец объяснил мне, что дед, как и все родственники моей матери, — враг народа, и больше ничего о нём не рассказал — типа, рано об этом знать. Завет был тёмно-красный и потрёпанный, как и другие старые книги вроде песенника про Сталина, а про бумагу, на которой он был напечатан, я читал в других книгах, что она называется папиросной. Я ничего тогда не понимал в бумаге и словах, на ней напечатанных.

В этом мрачном сборнике были странные истории о нерусских людях, которых автор предлагал уважать и брать с них пример, и я подумал: вот почему дядя моей матери был врагом народа, ведь наш народ — русский и советский. Странное существо по имени «бог» говорило мне, что я тварь, так как не могу сосчитать все песчинки на морском берегу. Но я никогда не видел моря и не понимал, зачем мне это надо.

Через пятнадцать лет я случайно встретил Щ. на Василеостровской. Он работал в книжном магазине, курил траву и объяснял, что капитализм выцедит из человека кровь, пожарит и съест. В сущности, он всю жизнь говорил одно и то же.

Израиль, рассыпанный по земле манной крупой, иные говорят — мусором. Сам Израиль двусмыслен, как проповедь циника, притворяющегося, что верит. Спрятавший за шагаловскими полотнами и стихами нобелиатов всё величие собственного позора. Израэлиты — враги каждого народа. Это они усеяли мир накрест сколоченными перекладинами. Даже когда я закрываю глаза, бессмыслица их глаголов жжёт мне веки. Они свели с ума многих и многих, боящихся, что скоро придёт мессия и начнутся массовые казни, и никто не узнает, сколько будет длиться этот висельный шаббат.

Их весна мешает птичье молоко с грязью. Каждый должен прочитать их книги и почувствовать, как ноет запястье, будто сломано римским солдатом; каждый, когда пьёт водку, должен вспоминать, как сын плотника пил уксус, а если хочет найти себе оправдание — как тот же персонаж пил с проститутками и налоговой полицией. И ничего, что на самом деле это был не уксус, а обезболивающее, — забудьте о трогательном гуманизме римлян, милости к побеждённым.

Я помню себя ребёнком, которому снится, что бог выцедит из него кровь, пожарит и съест. Он сочинил себе сына, чтобы мы зачарованно смотрели, как тот идёт по воде, и мы все умрём, а он так и будет идти по воде и смеяться над нами. Мы все сгорим, пока он идёт по воде, под зубовой скрежет святых, радостно мучающихся в ближайшем аду. Ад — он всегда *ближайший*.



Я говорю очередному самодовольному просветителю: господь — это утлая лодка, не ври мне, что он судоходная верфь. Его ученики всю жизнь плетут корзины, в которых потом носят еду для тех, кто не верит в бога, или делает вид, что верит, носят мимо учеников, и им нечего на это сказать.

Лучше бы они сожгли меня, но они просто обнесли мой город частоколом, чтобы я туда не попал. Чужие, чья книга жесточе нашей, только нашу книгу уже не найти и не доказать ничего.

Ничего.

Я помню себя ребёнком, которому снится, что бог выцедит из него кровь, пожарит и съест».

Р. никогда бы это не записал: он экономил деньги на аренду мастерской. Визуальное искусство казалось ему более извинительным занятием, нежели какие-то книжки. Когда я видел его в последний раз, он работал на заводе и на выходных читал «Историю моих бедствий», чтобы не отупеть. Уже не помню, был ли он настолько умён, чтобы я мог разделить его опасения и попытаться помочь, а в итоге он начал рисовать на стенах съёмной квартиры переплетённые ивовые прутья, и хозяин его прогнал.

## **КУСОК ГОРОДА**

Не боюсь неприятностей: они странно выворачиваются наизнанку, словно был целлофановый пакет, а стала кожаная сумка. Однажды дураки задержали меня, и я вынужден был срочно ловить такси. Водитель поехал хитровыдуманным маршрутом, который я видел впервые. Понял, что опаздываю, как дурак. Тут мне открылся незнакомый красивый кусок города, тёмно-красные черепичные крыши и

полуразрушенные стены, увитые плющом, — почти как на той улице, где живёт N.

— Здесь жила старуха, спятившая из-за кошек, — сказал водитель и выкинул окурок в окно. Пару минут назад я собирался попросить его убавить адское радио, но передумал. — Она отравила чужую кошку, а потом раскаялась и начала бездомных подкармливать. Но ей всё равно приснилось, что она уже мёртвая, а кошки превращаются в птиц и клюют её труп. Она после этого ещё долго прожила, года четыре. Кошек становилось с каждым месяцем всё меньше, будто их притравливали жэковские ловцы, и скоро у мусорки остались одни вороны.

— А зачем вы мне это рассказываете? — спросил я удивлённо.

— Так я вас помню, — сказал водитель. Наверно, у него был тяжёлый день.

## АППАРАТ ФИШЕРА

Приснился австрийский учёный Фишер с манией преследования. Недоброжелатели якобы хотели незаметно довести его до суицида, чтобы потом не сесть за убийство в тюрьму. В припадке шизофрении он изобрёл аппарат, выявляющий потенциального врага по колебаниям энергетической оболочки, длящимся те несколько секунд, пока задержанный смотрит на портрет жертвы. Получив патент на изобретение, учёный напился и выпал из окна сотого этажа, что было немедленно истолковано как самоубийство. Аппарат указал на местного пьяницу, когда-то выигравшего у Фишера в шашки пятьдесят девять евро, и тот схлопотал пять лет общего режима. С тех пор к любому из нас могли вломиться полицаи и заявить, что он виноват в смерти человека,

виденного один раз в жизни, да и то издали. Я ещё написал повесть об этом, но стёр.

До сих пор не понятно, кому была выгода от статьи «Косвенное доведение до самоубийства» и почему я тогда решил, что недоброжелатели учёного были вымышленными.

### **ПИСАТЕЛЬ С. НЕ УБИВАЛ СВОЮ ДОЧЬ**

Писатель С. не убивал свою дочь, она умерла сама по себе. Но ему стало смутно припоминаться, что он продал её владельцу казино, то ли арабу, то ли туркмену, что пришиб на кухне блендером. Его дочь даже не покончила с собой — у него не было явных причин развивать у себя столь сильное чувство вины. Однако же, может статься, что она всё-таки порезала вены, а отец продал её на органы. Поэтому писателю С. стала мерещиться её одежда — тёмная болоньевая куртка и чёрные джинсы, которые он отнёс в центр социальной помощи или запихнул в мусорку, что, как он позже добавлял, почти одно и то же. Он не мог спокойно выбросить окурок в чужом дворе — из урны начинала выползать болоньевая куртка. В субботу днём он бродил возле института искусств и внезапно увидел, что из стены выезжает огромный бак, крышка сбоку открывается, и оттуда сыплются жёванные куртки и чёрные джинсы; а мы отвечаем, что не верим — видели историю болезни и заключение врача, не видели только морг.

Понимаете, доверительно сказал писатель С., она погибла в моё отсутствие, а отсутствовал я большую часть времени, значит, мог сделать с ней что угодно. Бог знает, как это переводится на здешний язык.

## КАЖДЫЙ РАЗ ОДНО И ТО ЖЕ

Деньги — это узкие фиолетовые ленточки, выползающие из прорезей. На них напечатаны белые цифры и нет никаких памятников и лиц. Ты можешь отрезать ленту после «500», можешь подождать до отметки «10 000». Ты ничего особенного не сделал, это просто реформа.

Но у каждого есть свой цифровой предел. Администрация вправе не объяснять, почему один посетитель может отрезать более длинный кусок, а перед другим автомат выключается. Эти двое могут иметь одинаковую профессию, одинаковый доход и даже приблизительно равную физическую выносливость. Существуют причины, о которых тебе расскажут сумасшедшие на улице — похоже, тут некому больше. Некоторые подходят к разным автоматам с чужими личными картами, чтобы нарезать побольше полосок; кого-то уже поймали.

Т. просыпается; уже темно. В интернете предприниматели пишут, что недоверчивость и подозрительность — признак быдла. Они соскучились по девяностым, когда людей можно было водить за собой, рассказывая про ваучеры и чёрное братство. Т. знает: ей не разрешат отрезать фиолетовую ленту и станут объяснять, что уж такой она родилась, но они любят её такой, какая есть, а она не поверит — откуда чужим знать, какая она есть.

## КОЛОВОРОТ

Алкоголичка Татьяна оборачивается в лиловую темноту, доедающую нелепые предметы и фигуры во дворе, и визжит:

— Дура ты, тварь, и в башке у тебя коловорот!

— Героинщица старая! — отвечает её дочь, бледная крашенная брюнетка лет двадцати восьми. От природы цвет её волос такой же зеленовато-серый, как у матери, шеи обеих напоминают мятые стебли. Будто гигантский мифический козёл пожевал слегка, распробовал да и выплюнул.

Девушка М. принимает третью таблетку аспирина. Температура не падает. М. хочется спустить из форточки петлю прямо на шею соседке, застывшей под окнами.

У М. волосы и брови чёрные, поэтому новомодные ухищрения мышей, пытающихся хотя бы на полгода уподобиться таким, как она, кажутся ей вдвойне смешными. Гламурные псевдобрюнетки с загаром из солярия — вылитые куклы, к им страшно прикасаться, вот-вот разобьются на куски, как героини древнего фильма про эликсир молодости, как он там назывался, и в руках у тебя останутся облезшие клочья коричневатой кожи, крашенные волосы отвалятся, на голове останутся серые корни; тебе захочется заглянуть им в голову, но ты понимаешь, что после этого сойдёшь с ума, ты уже сошёл с ума — разве пожелает вменяемый человек заглянуть в голову типичной бабы? А чернокрашенные простецкие пьянчужки похожи на трупы.

Из соседнего дома несётся русский рок: «здесь женщины ищут и находят лишь старость». М. словно впервые понимает, что это «здесь» совсем рядом, оно лепится к чёрным пролетаркам, как невидимая серая пакля, как серая оконная замазка и разведённая водой зола, как негодная музыка и ярлычки с низкими цифрами — к дискам негодной музыки.

Они не пролетарки, поправляет муж, а люмпенизированные элементы. Пролетарии работают. Ты представляешь этих гарпий работающими?

Каждый день старая пьяница и её дочь, живущие вдвоём на двадцати пяти метрах общей площади, орут друг на друга во дворе. Никто не знает, откуда они берут деньги.

— Выпишу! — после долгого молчания произносит старшая Татьяна.

Это для народа страшнее, чем «выебу», комментирует муж и закрывает окно.

М. уже не помнит, какого числа это случилось. Тридцать девятого января?

М. говорит: я скоро оглохну от ора. Или тут все глохнут, как умирают, — медленно и мучительно? Я гляжу на семь дорог, в начале каждой замерло по чёрной пролетарке, и мне становится не по себе: таким существам с трудом даётся благородная неподвижность, им свойственно вихляться, валандаться, гримасничать, всё, что угодно, лишь бы не. Значит, что-то совсем не так. Сквозь черноту слышен звонок.

Татьяна-младшая. Радостно смотрит на меня. Я себя сегодня в зеркало видела: лицо как папиросная бумага, волосы сваялись. Мы с младшей пьяницей нынче похожи, как оригинал покойника и копия покойника.

Она трещит, что ей нужны-деньги-срочно, у неё закончились крупа и сахар, а мне хочется ответить, что, мол, такое впечатление, будто у неё закончились мозги, но такое вслух нельзя — невежливо, неграмматично.

Ты же не вернёшь, жёстко отвечаю я.

Она пару секунд молчит, потом торопливо восклицает: ты нас заливаешь! Я не заливаю, говорю я, у нас трубы новые. И вообще, я болею, ты заразишься, если будешь тут стоять. Ты болеешь, говорит она, поэтому не заметила, что у вас не новые трубы, а старые или плохие. Пойдём посмотрим, у нас течёт с потолка вода, у нас правда течёт с потолка вода.

Мы вызовем аварийку, мечтательно говорит она, созерцая сухой потолок. Я осматриваюсь: у них в квартире всё не так плохо, мне-то представлялся заросший вшами бедлам. Хочешь коньяку, спрашивает она, и подвигает стакан с

жидкостью мрачного цвета, настойку на корках, а не коньяк, — помогает от простуды. Нет, говорю я, нет, мне пора, муж сейчас вернётся; мне страшно, вдруг она подмешала туда клофелин.

Что ты такая нервная, говорит младшая Татьяна, ты кем раньше работала? А почему вы сюда приехали? Полистай, протягивает она допотопный фотоальбом, наверно, пахнущий нафталином — я сегодня не различаю запахи. На чёрно-белом снимке — Татьяна лет двенадцати в белом платьице с кружевами.

Я в школьных конкурсах всегда занимала призовые места, говорит она, пока мать не начала мне всё портить — она побоялась, что я начну добиваться жизни. Орала и мешала на меня.

Мне плохо, говорю я, можно, я пойду? Она смотрит на меня с сочувствием. Я отчётливо различаю серые потёки на стене. Минуту назад их не было. Дома ничего, между прочим, нет — никакой воды. Я запираюсь на все замки и ложусь спать.

Тридцать десятого января муж М. отпирает дверь, берёт у младшей Татьяны пачку недорогого печенья, пожимает плечами, запирает дверь.

Младшая Татьяна метёт лестничную площадку, раньше она не делала этого никогда. Мать снова орёт на неё: ты нанималась, что ли, на буржуев работать? — хотя намусорила она, а не буржуи.

Январь тянется, как дешёвая жвачка, которой нас угощали дети бедных в девяностые, а нам было неудобно отказываться — училка проела все мозги «равенством» и «вежливостью». Татьяна прилипла к нашей двери, как жвачка, хочется отскрести ножом.

Алкоголь и нехватка образования помогают людям осуществить самые заветные желания. Мать Татьяны была склонна к нарциссизму, поэтому назвала дочь в свою честь и сначала радовалась, что она растёт симпатичной, повторяя её в юности, но отвращение к себе настоящей и зависть к собственному улучшенному подобию не давали ей покоя. Сначала она распугивала ухажёров дочери, а потом, напившись, приставала к ней, и в итоге их кровосмесительная связь стала главной тайной нашего дома. Старшая алкоголичка чувствовала, что воспоминания о матери отравят любое приключение дочери, и это придавало ей уверенности, но порою она ревновала — например, когда молодой гопник подарил младшей Татьяне отжатый у другого гопника телефон. Мужики все кобели и просто так ничего не делают. Но последней каплей стало внимание дочери к понаехавшей жидовке. Мать напомнила сволочи, что классная руководительница предлагала отвести её к детскому психиатру, и добавила: всё правильно, с жидами свяжется только ненормальный.

Если мы не откроем полицейские протоколы, никогда не узнаем ничего подобного.

Я хочу перестать болеть и выйти на работу. Муж говорит, что надо меньше презирать людей. Ему легко рассуждать: он не с людьми, а с компьютерными вирусами работает.

Но мне снова плохо, и в дверь снова стучат. Через пару минут стукач подаёт голос — визгливое сопрано. Это алко-мать чего-то хочет от жидов, продавших Россию. Я даже в таком состоянии свалю её с ног одним ударом, но мне не хочется бить женщин. «Сука, ты мою дочь совращаешь, — продолжает Татьяна-старшая, - лесбиянка долбаная!»

Я не привыкла к общению с сумасшедшими и размышляю, не вызвать ли «скорую». Из коридора доносится голос



младшей, она тихо уговаривает, потом громко матерится. Слышен звон стекла.

Я натягиваю джинсы, сую в карман мобильник, набрасываю куртку, в кармане которой — нож и баллончик «Коктейля Молотова». Надеюсь, меня не будет сильно шатать.

На площадке пусто. Выхожу во двор. Младшая алкоголичка лежит в сугробе, уставившись в небо. Напротив неё на вытаявшем куске серой травы растекается лужа. Потом начинает скручиваться спиралью и уходит в землю.

Коловоротом в области, откуда приехала старшая, называют сильное кружение воды. Фольклористы отмечали, что в тех местах в средние века было принято публично наказывать женщин, «способных вызывать воду и обращаться в неё людей».

А ты иди, говорит младшая и начинает медленно подниматься. Я отступаю. Обледевшие стебли травы похожи на погнутые лезвия.

Полиции так и не нашли труп матери, увезли дочь; теперь в подъезде совсем тихо, только по стенам сбегает струйки воды и не замерзают даже при такой температуре.

## ОСАТАНОВКА

Д., как и все приличные люди его круга, практиковал секс с двумя женщинами сразу. Каждый раз девушка, с которой его знакомила постоянная подруга, оказывалась, по его мнению, лучше предыдущей, и он уходил к ней. А возможно, это просто был повод уйти от надоевшей любовницы. Слух об этом прошёл по городу, и девушки стали сами напрашиваться к Д. и его бабе в постель; каждая, конечно же, надеялась, что станет последней.

К. сказала: Д. признался ей, что сам распускал эти слухи с целью привлечь побольше баб. Но попросил её никому не рассказывать: ведь всем известно, что настоящие мужчины не сплетничают. Впрочем, если К. всё же проговорится, вряд ли ей кто-то поверит. Где Д., а где она, дурочка с переулочка.

Утром сорок восьмого марта, когда Д. спал, К. помогла его гражданской жене зажечь сигарету на кухне. Жена сказала:

— Он зажигал мне сигарету, как будто выполнял ритуал, делающий его немного лучше. Не понимаю, почему.

К. спросила:

— Почему ты плачешь?

Жена сказала:

— Потому что мне тридцать семь лет, и я не знаю, что делать. Когда я была совсем молодой, мне внушали, что парни нужны только для романтики, а трахаются в первый день знакомства только проститутки. Что парню надо отказывать под любым предлогом, пока не предложит выйти замуж. Квартирная хозяйка сказала, что я развратная, а вот её дочь живёт отдельно от законного мужа, к которому раз в месяц ездит в Питер, а дома такими делами не занимается. А сейчас мне внушают, что настоящая женщина должна любить свинг, иначе мужчина уйдёт к более распутной. И я снова не соответствую. Знаешь, я устала для него готовить: это когда с ним просто встречаешься, он носит тебе завтрак в постель, а стоит женщине у него завестись, она превращается в кухонный комбайн. Думаешь, я это говорю из ревности, боюсь, что он правда меня выгонит и оставит тебя?

— Хочешь, я тебя заберу? — спросила К. — Когда-то давно в другой стране женщины уходили от мужчин и основывали коммуны. У нас такое не получится, но получится что-то ещё.

— Нет, — сказала жена. — Ты меня не хочешь, как и я тебя. Ты не бисексуалка, просто экспериментируешь от скуки. Тебе просто меня жаль.

Мы не знаем, что было с ними дальше, а Д., как сообщила местная газета, умер от остановки сердца. В некрологе была опечатка — «от осатановки».

## **ЧЁРНАЯ МЫШЬ**

У ненавидит N за то, что она много лет назад случайно переспала с её нынешним мужем. У для ненависти хватает и меньшего.

N ни разу в жизни не разговаривала с У, видела её только издали и давно забыла об этой малоизвестной малярке, но сначала один, потом другой, потом третий сообщил ей, что У хочет её убить и не любит своего мужа. Она почитала про У в сети; оказалось, что ненавистница — хилое существо в кислотно-розовых туфлях и ягуаровой кофточке, хвастающееся шестью попытками суицида. Может быть, подумала N, это тривиальная ксенофобия — пэтэушные блондинки с чёрными корнями волос ненавидели её так же сильно, а У недалеко от них ушла. Или эта глупая чёрная мышь не может простить N того факта, что случайный дурак оказался для неё лишь незначительным эпизодом, цифрой в донжуанском списке, а У пришлось выйти за него замуж и родить ему ребёнка?

На следующий день N узнала, что У наконец-то разрешили провести выставку в престижной галерее, и искренне порадовалась за неё.

## **ПУСТОТА УМА**

Утром он спрашивает L: «О чём ты думаешь?» Вот что она могла бы сказать:

— Я видела лучший ад в своей жизни, а когда открыла глаза, ничего не помнила. Когда ты гладишь меня по голове, то словно стираешь память. Ты говоришь мне:

«Что случилось?» — уже ничего. У тебя самые нежные руки в мире.

«Будь проще, — говоришь ты, — и ничего не будет случаться».

А потом закрадывается сомнение: если бы сюжет того стоил, он не забылся бы.

Ты сотрёшь всё из моей головы. Женщина не должна записывать кошмары. «Женщина» — устаревшая модель одежды, тщательно выстиранная и оклеенная блёстками, чтобы не так жутко было носить.

Иногда мне снится, что превращаться в женщину страшно. Будто тебя переставляют на другую клетку, молочно-белую, она расширяется, и вот пространство уже завалено розовыми блузками, и я отчётливо понимаю, что скоро буду слушать слащавую французскую и итальянскую попсу и ужасаться низкочастотной музыке, носить кружевные чулки в мороз и прикидываться душой, прикидывающейся умной.

Иногда мне снится, что превращаться в женщину странно. Будто ты уже не ты, а Элен Сиксу или Андреа Дворкин. Раньше я не верила, что в наше время андреа дворкин могут плодиться в мозгах, но если у человека проблемы с мозгами и этот человек — женщина, там с определённой вероятностью зародится Дворкин и выйдет наружу, словно Афина из головы Зевса.

Странные женщины вступаются за страшных кукол. Они говорят: нехорошо обесценивать чужой опыт и минимизировать значение женских интересов и типично женской истории, мы больше не подадим вам руки.

В глазах странных женщин отражается страшная неназванная вещь.

— Я люблю тебя, — говорит L.

Она попытается оправдать ситуацию тем, что буддийская пустота ума — полезное состояние.

Я люблю тебя, я не брошу тебя никогда.

## **ВМЕСТО ОТВЕТА**

Зачем, думал один сумасшедший, мне сохранять лицо, когда его так плохо собрали после побоев, что теперь почти нечего бояться, а на восстановление прежних линий нет денег, и не будет, ибо для их добывания нужно сохранять лицо.

Он полагал, что остальным будет слишком противно прикасаться к нему, и они не тронут чудом уцелевшую правую половину. Но поблизости оказался N, и у сумасшедшего снова всё пошло вкривь и вкось.

N говорит: я приманиваю мёртвых, чтобы забирать у них слова. Они, конечно, притворяются живыми, но я всё про них вижу. Украсть у одного, у другого, как Франкенштейн сшивал куски трупов, чтобы получившаяся фраза стала подобна одеялу из лоскутов мёртвой кожи. N говорит: я сам только и умею, что притворяться женщиной и притворяться живым. Я просто лучше притворяюсь, но я не лучше.

[Какой с меня спрос?

Не надоело вам сыпать костную муку в ваши мерные стаканы — подарите их домохозяйкам и идите с миром мимо нашего ложного воскресения.]

## **МОРСКАЯ ВОДА**

Сначала разъедает ссадины, но потом, на воздухе, они заживают необыкновенно быстро.

Кто-то возражает: не у всех.

Или: ты лжёшь.

Но я же не могу показать тебе, как это происходит, потому что когда всё разбито и содрано, я стараюсь держаться подальше от тебя. Ты сам говорил: лучше лишний раз не смотреть на то, что лучше скрывать.

Если таких, как ты, вокруг меня наберётся столько же, сколько покойников на соседнем кладбище, я уеду к морю и не вернусь.

## **АТАЗАГОРАФОБИЯ**

Одной женщине пообещали, что не забудут её никогда. Прошло много лет, тот, кто обещал, растворился в толпе, а потом — в земле.

Она долго пыталась ни с кем не разговаривать, а потом ей стало казаться, что её никогда не забудет бывший заимодавец, с которым она расплатилась полгода назад;

дальняя знакомая не забудет, что она опрокинула кофейник ей на колени;

соседи по старой квартире, откуда она съехала ещё при жизни того, кто обещал, не забудут все её промахи и резкие ответы, без которых вполне можно было обойтись;

попутчик в поезде не забудет чепуху, которую она ему наплела после распития водки в тамбуре, и до сих пор думает: какая дура.

Всё вокруг было бесконечной и зоркой памятью о ней.

Таковы мы все в глазах бога, он невыносимо мелочен, подумала она и проснулась. Сердце у неё билось медленно, словно чашка, которую нужно несколько раз швырнуть в

стену, чтобы остались только мелкие осколки. Сплошная белизна затягивала место, где раньше было окно, как будто стёкла стали одного цвета с подоконником.

Никто из её немногочисленных родственников и знакомых не мог вспомнить, говорила ли она, что скопила деньги себе на гроб, и пришлось взламывать ящик старого комода, где хранилась сберкнижка.

## **АД ИЛИ ДРУГОЕ**

Баба в дверном проёме кричит о порядке, на ней расхристаный фиолетовый халат.

Этот цвет носят романтические особы, начитавшиеся в сети про психологию колористики. Но бабе, наверно, тряпка просто под руку по дешёвке попалась. Пятидесятый размер — или пятьдесят второй?

Баба в проёме напоминает поэтку, всюю разоблачающую шлюханство в чужих стихах, при этом с упоением пишущую, как она мечтает увести троих законных мужей сразу.

Такое безобразие, кричит баба и роняет бутылку, та падает с глухим стуком.

«Утром эта разносчица заразы бежит на работу, сбивает пепельницу, звон на весь подъезд, а я же сплю в девять утра и не работаю!»

Баба осматривается, в волосах у неё крупные седые пряди. Ей тридцать пять.

«Ещё раз так грохнет — вмажу падле!»

Я прохожу мимо, я анархист, мне не нужен её порядок. Говорят, она считает меня буржуем и побаивается.

## СЕМНАДЦАТЬ

Для конспирации представлялся разным людям семнадцатью разными именами, пока не перепутал их все между собой. Это его и прославило: никто в местечке Z не был озабочен подобными вещами.

«Этот, такого-то роста, с таким-то цветом волос, так никогда и не вспомнит, как его зовут», — говорили о нём далеко за пределами города Z.

## ПРЕОДОЛЕНИЕ ШУМА

Б. зарабатывал себе на тишину, беседуя с толпой. На дом с прочными стенами, скверной акустикой; помещение, в котором кто-то умер от передозировки метаквалона с алкоголем, когда надоело слышать только шорох веток шиповника за окном; не жильё, а пустое место возле последнего фонаря.

Посредница прощebetала: «Вторую комнату можно отвести под детскую», — он отвернулся — её голос показался ему не менее тошнотворным, нежели детский визг.

Чтобы получать деньги от богатых, Б. в своё время даже научился без неприязни слушать джаз, о котором раньше отзывался: «Джаз — это как манную кашу размазывают по скатерти», — а позже понял, что на самом деле это как мозги размазывают по стенке. Теперь ему было немного страшно: вдруг он так приспособился к постоянному слуховому насилию, что от новой покупки не будет ровным счётом никакой пользы? Когда он верил в бога, тот учил Б. смиряться перед шумом, а никакой бог не проходит без тяжёлых последствий для психики.



«Тебя обманули: приспособиться нельзя к такому количеству вещей, что ты даже представить себе не можешь», — сказала девочка с метаквалоном.

Когда она снимала эту квартиру, ей было так плохо, что она стала раздваиваться, а то и растраиваться. Иной раз в трёх углах комнаты сидели три девочки с метаквалоном, если присмотреться — пропадали, но даже исчезнув из вида, не переставали говорить.

«А если наберёшь денег на новый фонд, у тебя появится куча живых любовниц, они заводятся от долларов, как мыши от грязного белья, и они будут жаловаться не так, как я, а вслух, человеческими голосами, — сказала девочка. И доверительно добавила: - То, что я принимала, действует болезненно и не сразу. На той стороне известно, что лучше всего .....цид». Шум ветра заглушил её слова, или она нарочно понизила голос, чтобы хозяин начал расспрашивать о чудесном средстве — ей было очень скучно и хотелось побольше вопросов и ответов. Но Б. решил не уточнять.



## СОДЕРЖАНИЕ

### ЗРЕНИЕ 7

---

---

**БЕЙ КОШКУ ОБЛАКОМ 13**

---

---

**ТЬМА ТЬМЫ 24**

---

---

**БЕТОНОМЕШАЛКА 34**

---

---

**БОРОДА УРИЦКОГО 46**

---

---

**ВНИЗ — ЭТО ТУДА 53**

---

---

**ДЕТИ ВРАГОВ МОРАЛИ 80**

---

---

**ЯЩИЧКИ В ГОЛОВЕ 88**

---

---

**МЕТАНОЙЯ 97**

---

---

**СВЕТОЛОВУШКА 110**

---

---

**КНИГА 0 117**

---

---

**[КОРОТКИЕ ТЕКСТЫ] 148**

---

---

НЕ ШУМ 148

---

---

БЕЗ МОЛОТКА 149

---

---

ТО, ЧТО ТЕБЯ УБИЛО, МЕНЯ ДАЖЕ НЕ СОСТАРИЛО 149

---

---

ЧУЖИЕ СЛОВА, 1999 ГОД 151

---

---

КУСОК ГОРОДА 153

---

---

АППАРАТ ФИШЕРА 154

---

---

ПИСАТЕЛЬ С. НЕ УБИВАЛ СВОЮ ДОЧЬ 155

---

---

КАЖДЫЙ РАЗ ОДНО И ТО ЖЕ 156

---

---

КОЛОВОРОТ 156

---

---

ОСАТАНОВКА 161

---

---

ЧЁРНАЯ МЫШЬ 163

---

---

ПУСТОТА УМА 163

---

---

ВМЕСТО ОТВЕТА 165

---

---

МОРСКАЯ ВОДА 165

---

---

АТАЗАГОРАФОБИЯ 166

---

---

АД ИЛИ ДРУГОЕ 167

---

---

СЕМНАДЦАТЬ 168

---

---

ПРЕОДОЛЕНИЕ ШУМА 168

---

---



## ДРУГИЕ КНИГИ АВТОРА

Луна высоко

Диагноз отсутствия радости

Место для шага вперед

Хаим Мендл

Вода и ветер

Инстербург, до востребования

Форма протеста



## ДРУГИЕ АВТОРЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА

АБРАМОВ, АМУРСКИЙ, БАВИЛЬСКИЙ, БАЛЛА, БАТШЕВ,  
БЕЛКА БРАУН, БОВ (БОБОВНИКОФФ), БОКОВ, ВОЛЫНСКИЙ,  
ВСЕВОЛОДОВ, ГАЛЬЕГО, ГАНОПОЛЬСКАЯ, **ГЕОРГИЕВСКАЯ**,  
ГУДАВА, ДАНИЛОВ, ДОБРОДЕЕВ, ДРАГОМОЩЕНКО, ЗАГРЕБА,  
ИВАНЧЕНКО, ИОХВИДОВИЧ, ИЛИЧЕВСКИЙ, КОВАЛЕВА,  
КОНДРОТАС, КОРТИ, КРЕЙН, КУЗЬМЕНКОВ, КУРЧАТКИН,  
ЛЕМБЕРСКИЙ, МАРТЫНОВ, МЕКЛИНА, МИЛЬШТЕЙН,  
МУСАЯН, НАЗАРОВ, ОГАРКОВА, ОГЛОБЛИНА, ПЫРЕГОВ,  
РАЗУМОВСКИЙ, РОДИОНОВ, САНДЛЕР, СЕЛИН, СЕЧИНСКИ,  
СЛЕПУХИН, ТЕРНОВСКИЙ, УСЫСКИН, ФОХТ, ЧАНЦЕВ,  
ШЕСТКОВ, ЭПШТЕЙН, ЭРБАР, ЮРЬЕВ, ЮРЬЕНЕН...





## АДРЕСА КНИЖНЫХ ВИТРИН ИЗДАТЕЛЬСТВА

<http://tinyurl.com/bmouxl>

<http://tinyurl.com/c8a6eq>

<http://www.lulu.com/spotlight/FrancTireurUSA>

## АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА

[franctireurusa@gmail.com](mailto:franctireurusa@gmail.com)



## Издательский совет

Дмитрий Бавильский (Россия)

Николай Боков (Франция)

Александр Кабаков (Россия)

Марина Ками (США)

Марио Корти (Италия)

Элен Менегальдо (Франция)

Андрей Назаров (Дания)

Михаил Эпштейн (США)

Сергей Юрьенен (США)





***Franc***-Tireur  
USA